

СМЕРТИ ИЛИ
ВОЛЬТЕР
И ЕГО
ВЕК



С. Д. АРТАМОНОВ

ВОЛЬТЕР
И ЕГО
ВЕК



КНИГА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

МОСКВА
• ПРОСВЕЩЕНИЕ •
1980

ББК 83.34Фр
А 86

На фортазе: французский народ штурмом берет королевский дворец Тюильри 10 августа 1792 г. *Рисунок Приёра*. Капталу на стихи Вольтера («Самсон») исполнил хор во время перенесения праха Вольтера в Пантеон 10 июля 1791 г.

Фронтиспис: Вольтер. *Скульптура Жана Гудона*.

А 86 Артамонов С. Д.
Вольтер и его век: Кн. для учащихся.— М.: Просвещение, 1980.— 223 с., ил.

В книге освещается деятельность Вольтера—философа, историка, поэта, драматурга. В ней широко представлен документальный материал—переписка Вольтера, высказывания о нем современников, рассматриваются культурные связи Франции и России (Вольтер и русское общество, Фонвизин в Париже, интерес декабристов, Пушкина, Белинского к личности французского просветителя).

А $\frac{60601-333}{103(03)-80}$ 250—80 4306020300

ББК 83.34Фр
8И(Фр)



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости.

А. С. Пушкин

Самым грандиозным событием XVIII в. была французская буржуазная революция 1789—1794 гг. Она завершила век. Она решила судьбу европейского феодализма и стала поворотным пунктом всей истории человечества.

Вольтер и XVIII век неразделимы. Духовная жизнь Европы проходила при его деятельном участии. Он был на гребне всех важнейших событий общественной мысли. Его идейные противники возложили на него всю ответственность за революцию во Франции. Они преувеличивали. Революции не совершаются по воле одного человека. Но для подготовки умов к этой революции Вольтер сделал конечно больше, чем кто-либо из его современников.

Вольтер был просветителем Европы в самом прямом смысле этого слова, ее духовным наставником. Он писал о себе: «У меня нет скипетра, но есть перо» (*Je n'ai pas de sceptre mais j'ai ma plume*) и, пользуясь чудодейственной силой этого пера, он преображал сознание своих современников, отвращая их от предрассудков, слепого религиозной, сословно-монархической идеологии и приобщая к культурным завоеваниям века. Он разъяснил Европе философию Локка, трезвая материалистическая основа которой так была тогда нужна людям, он разъяснил Европе великое значение открытий Ньютона. Парадоксально, но он открыл Западной Европе и Россию, которая сознанию тогдашнего западноевропейского обывателя представлялась далекой и неведомой страной снегов и медведей. (Кто не помнит горького замечания Пушкина: «Евро-

па в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна!»). Вольтер разъяснил Западной Европе Россию, рассказав о великом, созидательном и никому не угрожающем труде ее народа. (Достаточно сослаться на его противопоставление двух фигур: завоевателя Карла XII и создателя и труженика Петра I.)

Дочь Петра I Елизавета заказала Вольтеру книгу о своем великом отце. Это должна была быть книга о Петре. Вольтер же написал книгу о народе: не Петр, а Россия стояла на первом месте: «Россия при Петре Великом».

Мы живем в век образованности и полны глубокого уважения к минувшему, к труду наших предков, сохранивших и умножавших тысячелетнюю культуру человечества, но нам иногда кажется, что великие люди прошлого как и их статуи, сделаны из мрамора, что каждая запятая в их сочинениях вылита из бронзы. Такова сила исторического авторитета. Но что греха таить, наше благоговение перед ними перерастает подчас в отчуждение: уж очень совершенны они и так не похожи на нас, простых смертных.

А между тем это были живые люди с живым, легко ранимым человеческим характером, со своими слабостями и страстями. Когда под пером биографа они спускаются к нам со своего гранитного пьедестала, и мы узнаем в них людей, то, право, наша симпатия к ним и признательность за дело их жизни становятся как-то ощутимей и горячеей. Пушкин писал о Вольтере: «Его притязания, его слабости, его детская раздражительность — все это не вредит ему в нашем воображении. Мы охотно извиняем его и готовы следовать за всеми движениями пылкой его души и беспокойной чувствительности».

В книге «Опыт о нравах и духе народов» Вольтер заявил: «Каждого человека формирует его век, очень немногие поднимаются над правами своего времени».

Картина его собственной жизни подтверждает и первое и второе положения этого высказывания, то есть он, Вольтер, был таким, каким его создал XVIII век, и он же, Вольтер, был в числе тех немногих, кто поднялся над ним.



РОДИНА ВОЛЬТЕРА

Франция! Ты была когда-то колокольней мира, с высоты которой по всей земле разнеслись однажды три удара колокола справедливости, раздались три крика, разбудившие вековой сон народов—Свобода, Равенство, Братство!

М. Горький

Франсуа-Мари Аруэ, который вошел в историю под именем Вольтер, наполнивший этим именем политическую, философскую, культурную жизнь Европы XVIII в., был, пожалуй, по складу ума, характера, таланта самым французским из всех французов, и конечно, обожал свою родину, «страну столь мягкого, столь легкого, столь веселого народа».

Однако не так уж часто он ее хвалил, больше насмешничал и порицал. Великий «возмутитель спокойствия», он никогда не пребывал в состоянии благодушия. Слишком сурово было время, слишком много пороков таило в себе общественное устройство — Вольтер боролся. Мир запомнил его смех — особый, прощеский, «вольтеровский» смех, в котором было «нечто революционное», как писал Герцен.

Вольтер не только смеялся. Мир запомнил и его гнев. Этот веселый, остроумный, в сущности, добродушный человек бушевал, когда дело касалось актов жестокости, какие совершала в его дни французская христианская, католическая церковь, в вероучении которой главенствующее место занимала заповедь «Не убий!». Тогда страшные проклятия срывались с его тонких губ, и его милые соотечественники становились для него «бездельничающими обезьянами», «трусливыми убийцами». («Арлекины-людоеды!.. Спешите от зрелища костра на бал и с Гревской площади в комическую оперу; колесуйте Каласа, вешайте Сирвена, жгите бедных юношей... я не хочу дышать од-

Вольтер.
Набросок А. С. Пушкина.



ним воздухом с вами»¹.) Французы понимали суровость его гнева и не обижались, к тому же адресат этого гнева был не народ, а сравнительно немногочисленная, но всемогущая тогда клика политических и церковных вельмож.

Что касается подлинного отношения Вольтера к родине, то вот его собственное признание: «У меня нет других интересов и других чувств, кроме тех, что внушает мне

Франция» (так он писал своему другу д'Аржанталю 30 августа 1755 г.). И рассказ о Вольтере следует по справедливости начать с его родины, с его народа.

Франция — прелестный уголок земли! Страна полей и виноградников. Центр ее — сплошной сад. Долины многоводных рек — Роны, Луары, Гаронны — плодородны и благоуханны. Климат мягкий, умеренный. Почти бесснежные зимы. В Париже 200 солнечных дней в году. Снег держится не более 13 дней. Волны Атлантического океана омывают западные границы страны, теплые его ветры несут освежающую влагу и отесняют холодные воздушные потоки Севера. Гряда Пиренейских гор на границе с Испанией и Альпы, отделяющие Францию от Италии, преграждают путь иссушающей тропической жаре с Африканского континента. У южных границ — Средиземное море, песчаные отмели Лазурного берега, ослепительное и жаркое солнце. Здесь цветут магнолии, олеандры, алоэ.

Обитатели этого благодатного края «общительны, простодушны и веселы. Иногда они опрометчивы и почти

¹ Костры в дни Вольтера представляли жуткое зрелище — на них сжигали людей, не угодных церкви. Казни происходили обычно на Гревской площади Парижа.

всегда нескромны. Они легко излагают свои мысли. Они смелы и великодушны, у них высокое представление о чести. Дела серьезные они вершат шутливо, а пустяки — серьезно». Так с доброй улыбкой писал о своих соотечественниках знаменитый просветитель Монтескье.

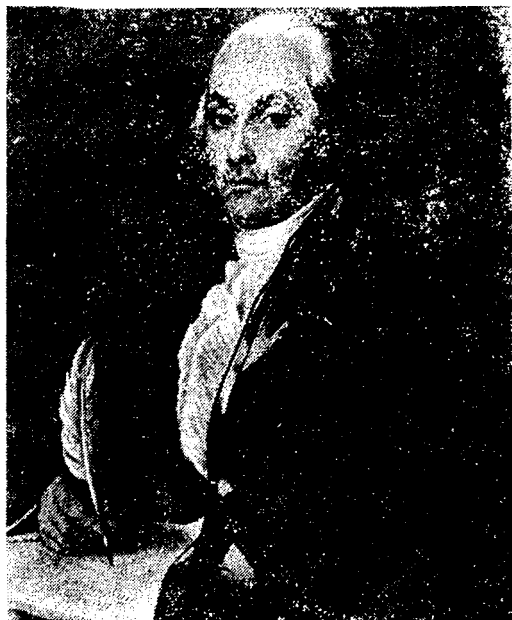
Французы — потомки древних кельтов, римских легионеров и германского племени франков. Последние овладели страной в эпоху Великого переселения народов (V в.) и дали свое имя стране и народу. Язык французов — это то, что стало с языком Вергилия и Цицерона в Галлии, куда его принесли легионы Юлия Цезаря. Он почти полностью сохранил лексическую основу латинского языка, вобрав в себя самую малую толику из языка аборигенов. В XVIII в. — это язык европейской аристократии. Екатерина II и Фридрих II могли свободно вести переписку с Вольтером на его родном наречии, не прибегая к услугам переводчиков.

Каждый народ несет в общую культуру человечества свои дары. Вклад родины Вольтера значителен. В средние века ее прославил безымянный автор знаменитой поэмы «Песнь о Роланде». Образ молодого рыцаря надолго приковал к себе интерес средневекового человека Западной Европы, и уже в другую эпоху и у другого народа он снова явился миру (в поэме итальянца Ариосто «Неистовый Роланд»).

Юг нынешней Франции Прованс когда-то дал миру несравненные цветы поэзии. Изящные стихи провансальских трубадуров славил красоту и возвышенные чувства идеальной любви в противовес грубости нравов реальной жизни. На севере Франции наследники трубадуров, труверы, создали рыцарский роман — поэтическое сказание о прекрасной даме и ее верном слугителе юном герое.

Суровая и далекая старина! Она донесла до нас свою романтическую мечту, и ныне, снимая с книжной полки сдиштенный дошедший до нас в достаточной полноте рыцарский роман «Тристан и Изольда» (его собрал из отдельных фрагментов французский ученый Бедье), мы вдыхаем аромат этой мечты.

Ренессанс во Франции несколько запоздал. Ее опередила Италия, но в XVI столетии родина Вольтера уже породила двух гигантов мирового значения — знаменитого Франсуа Рабле, автора «Гаргантюа и Пантагрюэля», книги озорной, полной смеха и мысли, и Мишеля Монтеня,



А. Н. Радищев.
Портрет работы
неизвестного
художника.

создавшего драгоценную исповедь человечества — «Опыты». Монтеня читал Шекспир. Его слова и мысли мы часто слышим с подмостков шекспирировского театра. Книжку Монтеня читал Пушкин. Покидая навсегда Ясную Поляну, ее взял с собой Лев Толстой.

В следующем, XVII столетии Западная Европа уже смотрела на Францию, как на школу хорошего вкуса, изящных манер и высокой культуры. Наш век судит строже, но и мы полны уважения к талантам той поры — к Корнелью и Расину, Лафонтену и Ларошфуко, особенно, конечно, к Мольеру, оставившему нам «Мещанина во дворянстве», «Тартюфа», «Дон Жуана» и непреклонного правдолюбца Альцеста («Мизантроп»).

XVIII век выдвинул на мировую арену великих просветителей — Вольтера, Руссо, Дидро, Монтескье, Гельвеция, Гольбаха. Они бросили клич — Свобода, Равенство, Братство! Этот клич подхватили миллионы их соотечественников — революционный народ Франции. Далекое разнесся призыв. Проник он и в заснеженные просторы России и отозвался в сердце Александра Радищева, а в следу-

ющем поколении — в сердцах благородных мятежников и страдальцев, участников восстания 25 декабря 1825 г. на Сенатской площади Петербурга.

Культурные богатства родины Вольтера необозримы. Мир восхищается ее соборами, дворцовыми ансамблями, замками по берегам Луары; ее картинными галереями с именами Пуссена, Ватто, Шардена, Грёза, Давида. (Мы не заглядываем дальше, в XIX в., богатства этого века, особенно в сфере художественной прозы, кажется, еще грандиознее.) Да и само литературное наследие Вольтера, а больше, пожалуй, созданный им духовный климат, составляют огромное культурное достояние Франции.

Франция времен Вольтера! Города с готическими шпилями соборов, феодальные замки по берегам рек, часто пустующие и разрушающиеся за отъездом владельцев ко двору. Селения с лачугами крестьян.

Монастыри. 4 тысячи монастырей. 60 тысяч монахов и монахинь. 6 тысяч священников. Столько же церквей и часовен.

24 миллиона жителей. Одна пятидесятая часть из них — дворяне и церковники. Они владеют половиной национальных земель.

Во главе государства — король. У него 10 дворцов. Он тратит на себя около четверти национальных доходов.

Столица — Париж. «Сконище дворцов и хижины, великолепия и бедности, поразительных красот и отвратительных недостатков» (Вольтер). Париж аристократов. Пышный, роскошный. Дворцы, парки. Тяжеловесные, украшенные бархатом и золотом кареты. Длинные парики. Длинные голубые камзолы, расшитые золотом, с кружевными манжетами, испадавшими на тонкие, холеные, некогда не знавшие физического труда руки. Светские модницы. Громоздкие, неуклюжие и пеленые криполины, затейливые прически.

Париж бедняков. Узкие грязные улочки. Зловоние сточных ям. Толпы голодных и оборванных.

Франция! Благодатный край! Щедро одаренная солнцем земля! Но... хлеба, производимого в стране, хватает на 4—5 месяцев. Через каждые три года голод. С 1700 по 1789 г. тридцать голодных годов.

Английский агроном Артур Юнг, совершивший путешествие во Францию в 80-х гг. XVIII столетия, был поражен картиной бесхозяйственности и запустения, какую он

увидел на родине Вольтера. Пустовали огромные земельные пространства, зарастали бурьяном плодороднейшие земли. «Каким ужасным обвинением против королей, министров, парламентов и штатов выглядят миллионы неприставленных к делу людей, обреченных на голод и праздность отвратительными принципами деспотизма и не менее отвратительными предрассудками феодального дворянства», — писал он. Родина Вольтера!

«С одной стороны, видишь печестие, возносящее главу свою, а с другой — вдов и сирот, стоящих подле окон домов великолепных... Воображение человеческое никак представить себе не может варварства и бесчеловечия, с каким трактуются несчастные люди. Не могу выйти из удивления, как нация просвещенная и, по справедливости сказать, человеколюбивейшая может терпеть, чтоб такие лютоги совершались среди столичного города» (Фонвизин. Письма из Франции).

Фонвизин назвал Францию XVIII в. «нацией просвещенной». Это относилось, конечно, только к культурной элите. Основная масса народа (крестьянство) была неграмотной. В деревнях почти не было школ. В областях Оверни; Лимузен на двадцать деревень была одна школа.

Когда идейные противники Вольтера говорили ему, что он возбуждает народ, что восстанавливает его против алтаря и трона, он отвечал: «Народ у нас не читает. Шесть дней он трудится, на седьмой идет в кабак».

Фонвизин назвал Францию «нацией человеколюбивейшей». Французы приписывают своему национальному характеру черты умеренности, психического равновесия, гармонии и ставят их в зависимость от мягкого климата страны, от в основном равнинного ее рельефа. Природа не являет здесь резких контрастов, она благодетельна и добра к человеку, и человек становится добродушным, веселым. Франция открыта миру. Ее западные границы широко глядят в Атлантический океан, а южные — в Средиземное море, потому французы общительны и лишены националистических предрассудков.

Не беремся судить, насколько существенна эта зависимость национального характера от климата и географической среды, но добрые, человеколюбивейшие черты лучшей части французского народа, какие отметил Фонвизин, бесспорны.

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК

Р о з и н а. Вечно вы браните наш бедный век.

Б а р т о л о. Прошу простить мою дерзость, но что он нам дал такого, за что мы могли бы его восхвалять? Всякого рода глупости: вольномыслие, всемирное тяготение, электричество, веротерпимость, оспопрививание, хину, энциклопедию и мещанские драмы.

Б о м а р ш е. «Севильский цирюльник»

Доктор Бартоло, герой комедии Бомарше, смешной и жалкий персонаж, перечислил здесь социальные, политические, философские, научные проблемы, волновавшие поколения XVIII в. Этими проблемами жил XVIII век. О них писали книги и спорили в кофейнях Парижа и Лондона, в дворянских гостиных Москвы и Петербурга, о них говорили люди высокой образованности и полуграмотные подмастерья. Это были великие научные открытия и вместе с тем великие дискуссии века.

Век Вольтера — век дворянско-сословных монархий в Европе, век феодализма. Монархи вели себя как неподконтрольные, абсолютные правители, стоящие над народом и законами. «Король представляет собой всю нацию. Вся власть находится в руках короля... Короли являются неограниченными государями и, конечно, имеют полное право распоряжаться по собственному усмотрению всем имуществом духовных и светских лиц... Каждый подданный обязан повиноваться им без рассуждений» (из паставлений Людовика XIV сыну).

Это было идеологической программой королевской Франции XVIII в. Этому учили короли, этому учили их самих. Однажды гувернёр мальчика-короля Людовика XV, открыв окно и указав на стоявшую перед дворцом толпу, сказал ему: «Весь этот народ принадлежит вам». И Людовик XV, став взрослым, заявил уже от себя, что король «ответствен только перед богом». А его преемник Людовик XVI говорил еще более цинично: «Это законно, потому что я этого хочу».

И беззаконие процветало. Во Франции особенно наглядно это проявилось в так называемых *Lettres de cachet* (ордер на арест). Пустой бланк за подписью короля давал право арестовать любого, чье имя будет внесено в соответ-

ствующую графу. Такие бланки некоторые предприимчивые люди даже стали продавать по 120 ливров за штуку. Торговал ими через своего лакея министр Ла-Вильер. Эти ордера буквально наводнили страну. При Людовике XV их было пущено 150 тысяч, во время правления Людовика XVI (1774—1789) — 14 тысяч.

В «Философском словаре» Вольтера есть одно слово, которое связано с самыми мучительными социальными проблемами XVIII в. Это слово «равенство (égalité)». Оно было выстрадано человечеством. Социальная проблема имела глобальный характер. Еще существовало крепостничество и даже рабство в самых крайних его формах. Сотни тысяч негров в цепях и оковах вывозили тогда с Африканского континента в Америку.

Во Франции крепостничество было уничтожено еще в XV столетии, но, как писал Вольтер в 1778 г. (в год своей смерти), «есть еще несколько кантонов во Франции, где народ в рабстве и, что особенно ужасно, в рабстве у монахов». (Поблизости от Фернея, где жил Вольтер, находилось аббатство Сен-Клод, имевшее крепостных. Вольтер тщетно добивался их освобождения.)

Однако французские крестьяне, юридически свободные, арендовавшие у помещиков землю, жили в такой нищете, что часто в полном отчаянии бросали все свое хозяйство и уходили в город, пополняя города и дороги новыми толпами нищих. По стране их бродило более миллиона. И жестокостей, конечно, было немало. Министр финансов Калонн докладывал в феврале 1787 г. собранию нотаблей, что ежегодно при взимании соляного налога совершается 4 000 конфискаций, 3 400 арестов и приговоров к особо тяжким наказаниям — выставлению у позорного столба, плети, галерам, виселице.

Доктор Бартоло, слова которого мы привели в эпитафии, сует на *вольномыслие* и *энциклопедию*, как на опасные дары цивилизации XVIII в. «Вольномыслие» (Вольтер, Дидро, Руссо) выдвинуло тогда принцип «естественного равенства», отказывая господствовавшему дворянскому классу в моральном и юридическом праве на привилегии.

«Поскольку человеческая натура у всех людей одинакова, закон природы обязывает каждого относиться к другому как к равному», — писал в «Энциклопедии» один из ее активных авторов Жюкур.

Между тем в жизни все обстояло иначе. Правительство всей своей политикой, всеми законодательными актами утверждало социальное неравенство. Людовик XVI издал 22 марта 1781 г. специальный указ о том, что офицерский чин могут получить только те лица, у которых четыре поколения предков были дворянами. Крупнейшие наполеоновские генералы Марсо, Ней, Ожеро, Бернадот (впоследствии король Швеции) имели чин унтер-офицера и дальше продвинуться по службе не могли. Не будь революции, они так бы и остались унтер-офицерами, ибо не обладали необходимыми дворянскими грамотами, тогда как аристократы сразу же получали высшие командные посты. Противоестественность этого положения была в глаза. Виконт Тюренн в возрасте 13 лет был назначен командующим кавалерии, герцог Фронсак получил чин полковника, будучи семилетним мальчиком.

В «Философском словаре» Вольтера есть еще одно слово, которое в XVIII в. не могло не волновать сердца и умы. Это слово «война» (la guerre). Войны — давний бич человечества.

Богат войнами и век Вольтера. На полях сражений сложили головы 5 200 000 человек. Франция участвовала в 3 крупных войнах. Каждая из них под благовидным предлогом скрывала неблагоприятные цели. Вот краткая справка: в 1700 г. в Мадриде скончался испанский король Карл II, последний из рода Габсбургов. У него не осталось наследников. Между тем две его сестры были замужем, одна за французским королем Людовиком XIV, вторая — за императором так называемой Священной Римской империи Леопольдом I, из австрийского дома Габсбургов. Оба они заявили теперь права на испанскую корону. Владения Испании были тогда огромны. Ей принадлежали Милан, Неаполь, Сардиния, Сицилия, кроме того Куба, Мексика, с Калифорнией и Техасом, Филиппинские и Каролинские острова, земли в Южной и Центральной Америке, Флорида, Канарские острова — словом, достаточно для того, чтобы вызвать аппетит у соседних государств. Англия, Франция, Австрия не могли не проявить заботу о пустующем испанском троне. Война за Испанское наследство длилась 13 лет, закончилась только в марте 1713 г. Австрийские Габсбурги оторвали у Испании Ломбардию, Неаполитанское королевство и Сардинию, Англия — Менорку и Гибралтар, герцог Савой-

ский — Сицилию. Франция же довольствовалась тем, что второй внук Людовика XIV герцог Анжуйский воцарился в Мадриде под именем Филиппа V.

Через 27 лет примерно такая же ситуация возникла в Австрии, где умерший Карл VI не оставил наследников по мужской линии. Теперь началась Война за австрийское наследство. Предметом спора стало право на австрийский престол женщины — дочери Карла VI Марии-Терезии. Зачинщиком войны выступил прусский король Фридрих II, привлекший на свою сторону Францию (на стороне Австрии была Англия, Голландия, а потом и Россия). Кончилось все тем, что после восьмилетних кровопролитий право на престол за Марией-Терезией было признано, а Фридрих II присоединил к Пруссии Силезию.

Через 8 лет после окончания войны за Австрийское наследство Фридрих II внезапным нападением на Саксонию начал новую, так называемую Семилетнюю войну (1756—1763) против Австрии. На стороне последней оказались ее старые противницы Франция и Россия, а потом Швеция. Пруссию поддержала Англия.

Фридрих II потерпел полный разгром. Русские войска вошли в Берлин. Положение прусского короля спас Петр III, занявший престол после смерти Елизаветы. Он не только прекратил войну, но и предложил вчерашнему противнику России военную помощь. Екатерина II, став русской императрицей, отменила распоряжение своего супруга, но и не пожелала продолжать войну.

Вольтер, свидетель этих событий, имел все основания негодовать. Он писал в «Философском словаре».

«Самое замечательное в этом адском мероприятии, что каждый из вожаков-убийц торжественно призывает бога помочь ему убивать своих ближних. Если какому-нибудь военачальнику удастся убить две, три тысячи человек, то за это еще не благодарят бога, если же от огня и меча гибнут десятки тысяч и до основания рушится несколько городов, тогда устраивается пышное молебствие, поют в четыре партии длинную песню на языке, непонятном никому из сражавшихся» (латыни).

Итак, картина социальной и политической жизни народов мира в XVIII столетии была достаточно мрачна. Но Вольтер и его соратники оптимистически смотрели на будущее. Видя в истории постепенное восхождение человечества от невежества к просвещению, они уверовали в

разум, в силу идей, полагая, что разум в конце концов одержит победу над пороками общества и приведет человечество ко всеобщему благоденствию. В этом их убеждали достижения научной мысли. Та небольшая часть человечества, которая имела возможность заниматься интеллектуальным трудом, проделала огромную работу в XVIII столетии.

Доктор Бартоло в комедии Бомарше ворчал не только на вольномыслие, но и на научные открытия XVIII в. — электричество, хину, оспопрививание, всемирное тяготение. А это были великие открытия, ими может гордиться век Вольтера.

XVIII век начал заниматься электричеством. И хотя главные достижения были сделаны в XIX в., но уже тогда оно стало предметом всеобщего интереса и великих надежд. Стали известны целебные свойства хины в борьбе с малярией, от которой не знали спасения в те дни. Тогда же впервые стали применять оспопрививание. Это было сенсационным открытием. Оспа косила народы, гибли десятки и сотни тысяч, особенно в XVIII столетии. Поражала она, конечно, прежде всего бедняков, но проникала и во дворцы. В России от оспы умер молодой царь Петр II, во Франции — король Людовик XV.

Самым важным событием в духовной жизни поколений Вольтера было, конечно, постижение законов всемирного тяготения, открытых Ньютоном. Еще древние греки, наблюдая жизнь Вселенной, отметили удивительное согласие всех ее миров и дали ей имя — «порядок» (космос).

Вольтер распространил идеи английского ученого. Это была большая заслуга французского автора перед наукой. Недаром Российская Академия именно за это, за распространение и популяризацию открытий Ньютона, присвоила ему звание почетного своего члена.

В речевом обиходе XVIII в. все новые научные, социальные и политические идеи связывались со словом «философия». Это слово пугало консерваторов и наоборот проносилось с восторгом всеми передовыми умами.

Себастьян Мерсье, один из интереснейших авторов XVIII в., описал Париж своего времени. Не мудрствуя лукаво, он бродил по улицам и переулкам города, останавливался на площадях, заходил в церкви, в театры и кафе, наблюдал и записывал виденное. Потом он составил из своих записей книгу очерков «Картины Парижа».

В одной из церквей Мерсье увидел маленькую записочку, приклеенную к стене так, чтобы можно было ее прочитать. Подобные записочки вывешивают иногда и в наши дни где-нибудь на фонарных столбах с объявлением о продаже какой-нибудь домашней вещи. Просьба, сохранившаяся в записке, была примечательной: «Помолитесь господу богу за... (названо было имя молодого человека) — он читает философские книги». Какая-то богобоязненная душа волновалась за своего ближнего: философия в религиозных кругах отождествлялась с политической крамоллой и безбожием. Франция тогда бредила философией. Философствовали все — и глубокомысленные умы, и пустословные светские франты (птиметры), и светские дамы, и их парикмахеры. (Как всегда, к серьезным идейным движениям примешивалась и мода.) В августе 1754 г. Мельхиор Гримм, один из молодых авторов, воспитанных Вольтером, писал: «Если интерес к философии в наш век более широк среди народа, чем в любой иной век, то этим мы обязаны не нашим Монтескье, Бюффонам, Дидро, д'Аламберам, сочинениям г-на де Мопертюи, а только г-ну де Вольтеру, который, наполнив философией свои пьесы и все остальные свои произведения, привил публике вкус к философии и научил огромное множество людей понимать ее достоинства и искать ее в сочинениях других авторов».

ВЕК РЕВОЛЮЦИИ

Оканчивался XVII век, и сквозь вечеряющей сумрак его уже проглядывал век дивный, мощный, деятельный, XVIII век; уже народы взглянули на себя, уже Монтескье писал, и душен становился воздух от близкой грозы.

А. И. Герцен

Герцен любил XVIII век, изучал его, часто возвращался к нему в своих размышлениях о прошлом: «...времена Вольтера и Бюффона, — и, что ни говори, великие имена», «что за огромное здание воздвигнула философия XVIII века, у одной из дверей которого блестящий извитый Вольтер...» (Записки в дневнике за 1842 г.).

Шарль-Луи
Монтескье.
Графюра Тартье.
С рисунка Шода.



Герцена привлекали к себе бунтарская энергия этого века, острота критического зрения его мыслителей-философов, писателей, ученых. Но он глядел на него уже из дали иных времен, когда великие события века отшумели, а участники событий сошли с исторической сцены, и легко было разобраться в сложностях проблем, стоявших когда-то перед обществом. Что же ощущали люди, жившие в XVIII в., дышавшие тем предгрозовым воздухом, о котором писал Герцен?

Приведем два свидетельства современников. Одно принадлежит герцогу Сен-Симону, который оставил яркое описание своей эпохи, второе — Вольтеру. Оба они предсказали революцию.

«В ту эпоху, когда я писал, особенно к концу ее, все клонилось к упадку, готовилось превратиться в хаос», — сообщал в своих знаменитых «Мемуарах» герцог Сен-Симон. Аристократ, вельможа, он прозревал в тумане грядущего только хаос.

Его младший современник, герой нашей книги, представитель нетитулованных сословий, Вольтер провидел

«страшную сумятицу», но и «прекрасные вещи». Он писал в своем пророческом письме к маркизу Шовелену 2-апреля 1764 г. (за двадцать пять лет до революции!):

«Все, что происходит вокруг меня, бросает зерна революции, которая наступит неминуемо; хотя я сам едва ли буду ее свидетелем. Французы почти всегда поздно достигают своей цели, но, в конце концов, они все же достигают ее. Свет распространяется все больше и больше; вспышка произойдет при первом случае, и тогда поднимется страшная сумятица. Счастлив тот, кто молод: он еще увидит прекрасные вещи». Ни Вольтер, ни Сен-Симон не дожили до «грозы», но они ее предугадали, первый — осмысленно и радостно, второй — смутно и опасно.

«Гроза» разразилась. Это была Великая буржуазная революция во Франции 1789—1794 гг. — грозная, очистительная, спалившая в огне крестьянских восстаний и феодальные замки и стародавние установления феодализма.

Вольтера называют просветителем. Слово «просвещение» имело для XVIII в. особое значение. Оно означало целую эпоху в духовной жизни тогдашней Европы. Французы называли ее «Веком света» (*Siècle des lumières*), русские, немцы, англичане, итальянцы — Просвещением, *Aufklärung*, *Enlightenment*, *Illuminismo*. В корне всех этих слов — «свет». Свет разума, знаний — именно так понимали его Вольтер и его соратники. Как солнце гонит тьму и ярко высвечивает печистоты, так разум, просвещение, изгоняет невежество, дикость, варварство и высвечивает зло, пороки общественного устройства. Как свет открывает взгляду мир в его реальном виде, так разум и знания дают человеку правильное представление о вещах.

Такова была историческая миссия Просвещения, как ее представляли себе с некоторой долей восторженности Вольтер и его сподвижники. Не идеи (разум, просвещение), конечно, привели к французской буржуазной революции. Тому были более основательные причины (экономические, социальные). Но они расчистили путь к революции, подготовили умы и сердца к свершению великих социальных преобразований.

XVIII век во Франции — век революции. Душой этого века был Вольтер. Он наполнил его своей уничтожающей насмешкой над учреждениями, законами, моралью и авто-

ритетами сословно-монархического общества, он наполнил его своим неотразимым остроумием, иронией. Он будоражил умы, заражая их беспокойной страстью к истине, он терзал сердца картинами человеческих бедствий. В течение почти целого века он бил в колокол набатный, сзывая людей на борьбу против невежества, социальных несправедливостей, войн, актов жестокости, фанатизма, религиозного изуверства. Он был одним из «величайших революционеров того периода, который вошел в историю как период великой французской революции», — писал В. И. Ленин¹.

ХВАЛА И КЛЕВЕТА

По одну сторону его смертного одра раздавался клич любви, а по другую — шел разгул ненависти и порицания, которым неумолимое прошлое награждает тех, кто боролся против него.

Виктор Гюго

Великие социальные катаклизмы, как правило, не проходят идиллически. Бури страстей человеческих сопровождают грандиозные сдвиги истории. И люди, оказавшиеся в силу ума, таланта, энергии и воли на гребне событий, вызывают к себе самые противоположные чувства, исходящие из противоборствующих лагерей. Так случилось и с Вольтером.

По отношению к нему не было равнодушных и нейтральных. Здесь были восторг, признательность одних и злоба, ненависть других.

Но что за благородная личность Вольтера! Какая горячая симпатия ко всему человеческому, разумному, к бедствиям простого народа! Что он сделал для человечества!

В. Г. Белинский

...Истинная красота не поблекнет никогда. Омир, Вергилий, Мильтон, Расин, Вольтер, Шекспир, Тассо и многие другие читаны будут, доколе не истребится род человеческий.

А. Н. Радищев

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 328.

Умов и моды вождь... Он наводнил Европу прелестными безделками, в которых философия заговорила общедоступным и веселым языком.

А. С. Пушкин

Ничто из того, что создавал Вольтер, не ускользнуло от нас. Мое пристрастие к его творениям вызвало во мне желание научиться писать изящно и стараться подражать прекрасному слогу этого автора, от которого я был в восхищении.

Жац-Жак Руссо

Восторженные отзывы! Добавим, что Генрих Гейне именовав себя «немецким соловьем, гнездящимся в парике Вольтера», а Байрон называл его «Протеем всех талантов человеческих».

Но вот отзывы другие — непримиримо враждебные, пылавшие ненавистью, презрением, злобой:

Этот паглый богохульник дошел до того, что объявил себя личным врагом спасителя. Он осмелился из глубины своего ничтожества глумиться над ним и дать божественному закону, приписанному богочеловеком на землю, имя «гадины». Покинутый богом, он не знает никакой узды... Он погружается в грязь, он омывается ею, он ею захлебывается... его неподражаемые таланты выкупают мне священную ненависть.

Граф Жозеф де Местр

Жозеф де Местр возглавил после революции самую реакционную, самую оголтелую пропаганду монархизма и клерикализма во Франции. Его книга «О папе» (1819) источала ядовитую проповедь насилия и жестокости по отношению к революционному народу. Вольтеру он «хотел бы поставить памятник рукою палача».

Русский митрополит Евгений в 1793 г. писал:

«Любезное наше отечество доныне предохранялось еще от самой вреднейшей части Вольтерова яда, и мы в скромной нашей литературе не видим еще самых возмутительных и нечестивых Вольтеровых книг; но, может быть, от сего предохранены только книжные лавки, между тем сокровенными путями повсюду разливается вся его зараза, ибо письменный Вольтер становится у нас известен столь же, как и печатный».

Имя Вольтера — на языке литературных персонажей.

В комедии Грибоедова «Горе от ума» графиня бабушка, полуглухая, выжившая из ума, кричит: «Ах! окаянный волтерьянец!» Она, конечно, никогда не читала Вольтера, как и весь круг гостей Фамусова, она путно не знала, что он, собственно, проповедовал миру, но именем его готова

была заклеить все, по ее мнению, богопротивное и кощунственное.

Вряд ли читал Вольтера и полковник Скалозуб, герой той же комедии, но и для него имя Вольтера связано с «ученостью», а ученость — с бунтарством:

Избавь. Ученостью меня не обморочишь;
Скликай других, а если хочешь,
Я князь-Григорию и вам
Фельдфебеля в **Вольтеры** дам,
Он в три шеренги вас построит,
А шкните, так мигом успокоит¹.

Впавшая в маразм старуха и полковник Скалозуб выражали мнение московских бар первой четверти XIX в., но это было мнение и всей международной реакции, всего вельможного дворянского сословия, утратившего свои привилегии во Франции в годы Великой буржуазной революции. Это было мнение и до смерти перепуганного, страшась утратить свое господствующее положение дворянства других стран тогдашней Европы.

Имя Вольтера приобрело уже у этой группы нарицательное значение. Оно стало бранной кличкой, символом неразумного бунтарства против установленных норм морали и вообще против всех стародавних устоев общества. В глазах Фамусова, Чацкий — конечно вольтерьянец. «Служить бы рад, прислуживаться тошно» — ведь так рассуждать может только молодой человек, набравшийся новых идей (вольтерьянства) и сместивший шкалу ценностей. По понятиям Фамусова, как раз умение «прислуживаться» и есть подлинное достоинство человека, его знание жизни. Оно дает реальные жизненные блага — чины, богатство, положение в обществе. Горе Чацкого — горе от ума. В нем, в уме, да в новых идеях — корень зла... Послушайте, как рассуждали в глухой провинции старой России последователи Фамусова: «В ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было». Гоголевский городничий знает и вольтерьянцев: «Нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так

¹ Царское правительство одно время практиковало такую меру наказания для революционно настроенных студентов — отдать их в солдаты. В. И. Ленин по этому поводу писал в 1901 г.: «...отдавать в солдаты сотни студентов! «Фельдфебеля в Вольтеры дать!» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 392).

самим богом устроено, и вольтерьянцы напрасно против этого говорят» .

Так было в XVIII, XIX и XX в. Имя Вольтера вызывало благодарную признательность одних и враждебные чувства других.

Нет нужды воспроизводить здесь все крики и ругательства людей ничтожных, ослепленных ненавистью. Для полноты картины сообщим лишь, что во время оккупации Франции гитлеровскими войсками Отто Абец, бывший посол Германии во Франции, составил список французских авторов, сочинения которых подлежали безусловному изъятию и запрещению. В этот список были занесены все произведения Вольтера. Фашизм боялся Вольтера.

СЫН МОМА И МИНЕРВЫ

Зевс. Пора и вам, богиня,
отправиться на суд.
Афродита. Что касается меня,
Зевс, то я не колеблясь готова
идти на суд, если бы даже ты поставил
судьей самого насмешника Мома.

Лукиан. «Разговоры богов»¹

Когда-то Пушкин, совсем еще юный (шестнадцатилетний лицеист), рассказывая легкокрылыми стихами о своей книжной полке, упомянул Вольтера:

Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю
И часто целый свет
С восторгом забываю.
Друзья мне — мертвецы.
Парнасские жрецы;
Над полкою простою
Под тонкою тафтою
Со мной они живут.
Певцы красноречивы,
Прозаики шутивы
В порядке стали тут.
Сын Мома и Минервы,

Фернейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый,
Ты здесь, седой шалун!
Он Фебом был воспитан,
Из детства стал пинт;
Всех больше перечитан,
Всех менее томит;
Соперник Эврипида,
Эраты нежный друг,
Арьоста, Тасса ввук —
Скажу ль?.. отец Кандида —
Он все; везде велик,
Единственный старик!

¹ Лукиан (117—190) — греческий писатель, автор остроумных и насмешливых диалогов «Разговоры богов». Ф. Энгельс назвал его «Вольтером классической древности».

Пушкин-лицеист.
Рисунок
В. А. Фаворского.



Что можно добавить к этой характеристике, которую дал властителю умов XVIII в. гениальный русский мальчик, находившийся тогда еще на ученической скамье?

«Он Фебом был воспитан». Да, да. Едва научившись говорить, Вольтер уже лепетал стихи известных в его дни поэтов. С ранних лет он дышал воздухом поэзии и свободымыслия. «Издетства стал пинт». Двенадцатилетний Вольтер уже поэт. «Соперник Эврипида».

Современники видели в Вольтере великого драматурга. Он работал для театра в течение шестидесяти лет и написал десятки пьес. «Арьоста, Тасса внук». И это верно. Его эпическая поэма «Генриада», его тонкие, умные, изысканные стансы, эпиграммы, стихотворные послания, философские поэмы, наконец, полная веселого шутовства, иронии, убийственной насмешки «Орлеанская девственница» ставили его в один ряд с самыми прославленными поэтами древности. По крайней мере, так судили его современники.

«Сын Мома и Минервы». Насмешливый и злоречивый бес древних греков и богиня мудрости — «родители»

Вольтера. Вольтер — философ. Философу положено быть глашатаем мудрости. Но и в стихах его — бездна ума. «...Ни одной строки нет, которая бы не была пропитана его мыслью, все равно: панегирик ли это датскому королю или комплимент м-ме Шатле», — писал о его стихах Герцен. «Эраты нежный друг». Эрато, сладкоголосая девушка с лирой в руках, муза эротической поэзии древних греков, пожалуй, менее всего привлекала Вольтера. Он менее всего был лирик, менее всего умел писать о любви, правда, его трагедия «Заира» вызывала потоки слез у его чувствительных современников. Но сила его состояла в убийственной иронии. Он был подлинным сыном Мома. Он умел смеяться. «Смех содержит в себе нечто революционное (Герцен).

Таланты Вольтера были универсальны. Он называл себя служителем всех девяти муз. И его читали. Читали жадно и воинственно. О том говорит скупой язык цифр. При его жизни, с 1740 по 1778 г., во Франции 19 раз печатали собрания его сочинений, не считая публикаций отдельных его произведений; после его смерти с 1778 по 1815 г., еще 6 раз.

Бомарше напечатал сразу два издания: в 70-ти и 90-х томах. В следующие 20 лет вышло 28 изданий. После семнадцатилетнего перерыва, с 1852 по 1876 г., — снова пять изданий. Тиражи по тем временам поистине космические: 12 изданий с 1817 по 1824 г. составили в общей сложности 1 598 000 томов.

Этот читательский интерес к Вольтеру был не случаен. Его литературное наследие, как в фокусе, вобрало в себя содержание всей социальной, политической и культурной жизни Европы XVIII столетия, все самые кардинальные проблемы, волновавшие тогдашние поколения, от вопросов социального устройства до поэтической метрики и законов природы.

Нельзя не заметить того, что читательский интерес к Вольтеру резко возрастал в дни безвременья, в дни реакции. Так было в годы правления последнего отпрыска Бурбонов на французском престоле Карла X, пытавшегося восстановить сословно-монархический режим накануне Революции 1830 г., когда за семь лет было опубликовано 2.159.500 книг просветителей. Три четверти из них составляли сочинения Вольтера. Общество нуждалось в нем, в его идеях, в его слове.

ГОДЫ УЧЕПИЧЕСТВА

Когда я вышел в свет и попробовал раскрыть рот,— надо мной начали смеяться... Мне была неизвестна даже та страна, в которой я родился; я не знал ни основных законов, ни нужд моей родины; я не знал ничего из математики и ничего про здравую философию. Я знал только латынь и глушину.

В о л ь т е р

Родился Вольтер в Париже, в доме на углу Иерусалимской и Назаретской улиц, ныне уже не существующих. Предки — с давних времен — буржуа, сословие, к которому Вольтер сохранил до конца дней своих глубокое почтение. Уже в XVI столетии они были занесены в списки ремесленников по выделке кожи в Сен-Лу (этот городок в годы французской революции конца XVIII в. был назван Вольтером), а в 1666 г. его дед, уже солидный купец из Пуату, перебрался в Париж, купил здесь дом, тот самый, что стоял на пересечении Иерусалимской и Назаретской улиц и в котором родился Вольтер, и занялся здесь торговлей сукнами.

Отец получил юридическое образование и не пожелал входить в купеческую корпорацию. В 1675 г. он купил должность нотариуса у некоего Этьена Тома за довольно солидную сумму в 10 тысяч ливров (тогда во Франции должности покупались, продавались и передавались по наследству как недвижимое имущество или предметы домашнего обихода) и в 1683 г. в возрасте 34 лет женился, подыскав себе невесту в Пуату в респектабельной семье провинциального судейского чиновника по имени Никола Домар.

Среди клиентов Аруэ были значительные имена — герцог Сюлли, герцог Сен-Симон, автор знаменитых «Мемуаров», Комартэн и другие. Нотариус Аруэ был не лишен литературных интересов и даже в свое время водил знакомство с Пьером Корнелем, а Маргариту Домар, его супругу, ценили в артистических кругах. Маргарита Аруэ жила недолго. 13 июля 1701 г. она скончалась, оставив на руках мужа семилетнего сына, которому уготована была судьба стать властителем дум самой передовой и са-

мой талантливой части населения Европы XVIII столетия.

В доме нотариуса Аруэ часто бывал аббат Шатонеф, музыкальный эрудит и критик. Он был крестным отцом Вольтера и очень к нему привязался, став его первым наставником. Он всюду водил его за собой, представлял всем знакомым и друзьям, радовался каждому его успеху, не уставал рассказывать всем о необыкновенных способностях своего воспитанника. О личности этого небогомольного аббата сохранилось немного сведений. Известно, что он родился в 1645 г., что написал несколько сочинений по истории музыки древних, писал о флейте и лире. Но сочинения эти мало ценились современниками. Известно, что принц Конти, который мечтал быть избранным на польский престол, посылал его в Польшу в 1679 г. в помощь аббату Полиньяку, который там всячески прельщал польских шляхтичей кандидатурой своего соотечественника. Надежды принца Конти оказались тщетными.

Старший сын нотариуса Арман (он был старше Вольтера на 9 лет) окончил семинарию монахов-ораторианцев. Они составляли тогда чрезвычайно фанатичную религиозную секту, и Арман вынес из их семинарии испуганную религиозность. Он изводил себя постами и мог часами говорить о боге.

Нотариус был человеком строгих нравов, аккуратно посещал мессу, выполнял все, что было положено католику, но испуганную религиозность старшего сына считал чрезмерной для respectable буржуа, поэтому второго сына предпочел отдать более «светским» наставникам, отцам-иезуитам. К тому же разбогатевший Аруэ мог позволить себе роскошь обучать сына в одном классе с детьми вельмож.

И вот в октябре 1704 г. десятилетний Франсуа-Мари покинул отчий дом и, ничуть не робея, переступил порог коллежа Людовика Великого, ведомый за руку аббатом Шатонеф.

Огромное здание, построенное еще при Ришелье, подавляло своим величием. Педагоги, отцы-иезуиты, в темных сутанах, холодные и корректные, едва заметили нового ученика. Он не принадлежал ни к одному из гордых родов французского дворяства. (Сын нотариуса!) Отцы-иезуиты имели честь обучать детей герцога Сюлли, герцога Буфле. Здесь обучались братья д'Аржансон (потом они

станут министрами), д'Аржанталь, герцог Фронсак, в будущем маршал Ришелье.

Юные аристократы имели отдельные спальни, отдельных гувернеров, иногда целый штат слуг, собственные выезды. Те, кто победнее, помещались в общих дортуарах по тридцать, сорок человек. Дети состоятельных родителей — в комнатах на троих, четверых. Так устанавливалась сразу социальная градация. Маленький Аруэ был определен в комнату на четверых.

Очень скоро сын парижского нотариуса заставил обратить на себя внимание. Его ответы в классах во время занятий были безукоризненными. Латынь и греческий он усваивал легко, к новым языкам имел и способности, и пристрастие, обладал уже обширными познаниями и начитанностью в литературах (влияние аббата Шатонеф не прошло бесследно), обладал тонким и гибким умом, великоленной логикой мышления и поистине неодолимой страстью к спорам.

Вскоре он стал грозой профессора элоквенции аббата Лёже. Профессор льстил себя тщеславной надеждой стать лучшим проповедником Франции и первым ее поэтом. Смешливый и лукавый Аруэ сразу разгадал его тайные помыслы и, одаренный способностью примечать все смешное и показывать это смешное другим, он немедленно избрал аббата-фанфарона мишенью своих шуток. Аббат зелел от бешенства. Однажды он сорвался с кафедры и, подбирая полы своей сутаны, подбежал к Аруэ:

— Вы будете когда-нибудь самым злостным распространителем деизма во Франции. Это я вам предсказываю.

Словечко «деизм», входившее тогда в моду, перекочевало во Францию из Англии. Философы, не отваживаясь еще полностью отказаться от богословской терминологии, искали между тем лазеек для свободомыслия. Деизм (от лат. *deus* — бог), в отличие от теизма (греч. *theos* — бог), ортодоксального религиозного мировоззрения, предполагал некую философскую религию. Под «богом» мыслился безликий высший разум, управляющий природой; но отнюдь не какой-нибудь Христос, Аллах, Будда или Брахма.

Монахи немедленно раскусили этот философский орешек, в котором скрывалось сладостное для здравых умов, но опасное для жизни при тогдашних фанатических нра-

вах зернышко безверия. В устах монахов слово «деизм» было равносильно слову «безбожие», и предсказание аббата Лёже звучало примерно так же, как если бы он пророчил своему ученику костер или виселицу. Люди, уличенные в безбожии, по законам тех времен карались смертной казнью.

Коллеж Людовика Великого был аристократическим учебным заведением, а истые вельможи полагали, что чрезмерная религиозность под стать разве только черни. Недаром в дни революции Робеспьер бросил многозначительную фразу: «Атеизм аристократичен».

Отцы-иезуиты беспокоились здесь о том, чтобы в умах их питомцев зрела вера в силу церкви, в силу нужную и полезную для дворянства и властей предержащих. Что же касается до самой религиозной догмы, то здесь аббаты умеряли свой пыл. Ведь даже владыки католического Рима позволяли себе вольнодумные шутки над «мифом о Христе», конечно, только «при своих». Потому опасное вольномыслие маленького Аруэ сходило ему с рук. А вольномыслие прочно внедрялось в его сознание. В школьном журнале сохранилась характеристика, данная Вольтеру его преподавателями отцами-иезуитами: *puer ingeniosus, sed insignis nebulo*. Если перевести эту латинскую фразу на наш современный язык, то она будет означать: «мальчик одаренный, но большой шалопай».

Из событий детства Вольтера, пожалуй, следует упомянуть о посещении им одной из примечательных особ века Нинон де Ланкло. Она не писала книг, не делала научных открытий, но во всех французских справочниках дается ее имя с неизменным пояснением: «Знаменита своим умом и красотой». Во все времена, когда женщины не допускались к общественной деятельности, появлялись такие особы, наделенные умом и красотой, которые силою вещей становились в оппозицию к господствовавшим правам. Такой была в Древней Греции Аспасия, гражданская жена Перикла, правителя Афин, в доме которой собирались политические деятели, философы, поэты, художники. Такой была в XVII столетии во Франции и Нинон де Ланкло. Ее салон посещали самые интересные и значительные люди эпохи. Однажды ей предложили пост придворной дамы, но она отказалась «умирать со скуки» в жилище королей. Теперь почти столетняя, она была живым преданием ушедшего XVII столетия. К ней привел

однажды аббат Шатонеф своего одиннадцатилетнего воспитанника.

«Высохшая, как мумия», восковой рукой она взяла мальчика за подбородок. В своем камзолчике с отходящими фалдами, на тонких ножках он похож был на кузнечика. Это сходство еще более подкрепилось, когда по просьбе Шатонефа он стал щебетать легкокрылые, умные, изящные свои стихи. Нинон де Ланкло ожила. Ей нравились его лукавые глаза. Посещение дома Нинон де Ланкло оставило воспоминание на всю жизнь. Вольтер не раз будет о ней говорить и писать, в шутку пазывая себя ее наследником (через год после этого знаменательного дня она умерла, оставив ему 2000 франков «на книги»).

За толстые стены коллежа не доходили голоса улицы. Ученики жили в мире Вергилия¹ и римские провинции знали лучше, чем собственную страну. «Латынь и глупости» вынес из коллежа великий сокрушитель европейского феодализма, по собственному его признанию, впрочем, он, как всегда, преувеличивал. Разящая гипербола всегда была в арсенале его излюбленных средств.

Когда молодой Аруэ покинул учебные классы и дортуары коллежа, голова его хранила немало знаний, почерпнутых из книг, которые он читал, вонзаясь острыми глазами в страницы. Он легко писал изящные мадригалы, фривольные стансы в духе поэта Древней Греции Анакреона, любимца европейских либертенгов его века. Он уже догадывался, что не все ладно в его родной стране, что несправедливо, когда некоторые, очень немногие и подчас самые недостойные, пользуются привилегиями. Он уже научился презирать монахов и сомневался в существовании христианского бога, но никаких прочных политических и философских убеждений у него еще не сложилось.

Прочно он знал пока только одно, что насмешек его боятся, а стихи его любят. Он не испытывал никакого трепета перед вельможами и вообще перед какими бы то ни было авторитетами, вел себя независимо и смело. Это не мешало ему при случае курить такой фимиам лести

¹ Древнеримский поэт Вергилий Марон, автор «Энеиды», украсил и юность Пушкина.

Люблю с моим Мароном

Под ясным небосклоном

Близ озера сидеть...—

писал шестнадцатилетний Пушкин.

сильным мира, что даже самым подобоострастным людям становилось не по себе. Скептические умы усматривали в этом особую форму издевательства.

Самый ранний его портрет рисует нам облик молодого человека в богатом кафтане, сидящем вполооборота к нам, косящим на нас веселыми глазами. Платок, завязанный на лбу, прикрывает волосы и уши. Губы растянуты в добрую, однако не без иронии улыбку.

* * *

Коллеж окончен. Франсуа-Мари Аруэ минуло семнадцать лет. Впервые отец, теперь уже старший королевский советник, всегда угрюмый и важный, редко достаивавший сына своим вниманием, снизошел до разговора с ним:

— Пора подумать о положении в свете. Кем ты думаешь стать?

— Поэтом.

— Поэзия хороша, когда сыт, когда в кармане звенят луидоры, когда имеешь над головой кров и в гардеробе не держишь рваного платья.

— !!!..

— Помолчи! Ты хочешь стать бесполезным человеком общества, обузой для родных и умереть с голоду на чердаке, составляя посвящение вельможам.

— !!!..

— Помолчи! Завтра ты пойдешь в Правовую школу и займешься кодексом Юстиниана...

И младший Аруэ начал изучать судебную латынь, далекие от жизни статьи и параграфы римского законодательства, составленные для общества, давным-давно переставшего существовать.

Как только представлялась возможность, Аруэ убежал и, конечно, не домой, где холодно встречал его угрюмо отчужденный отец или послушный отцу, религиозный до исступления, старший его брат Арман. Он тяготился этими людьми, близкими ему по родству и далекими по духу, и все свое свободное время проводил в кругу друзей.

Его общество любили. Тонкая острота, изящный стих или случайное суждение его о людях, о вещах, приправленное нескромным каламбуром, воспринималось как изысканное блюдо на званом обеде, как восточные пряности для гурманов.

ЗАБОТЫ СТАРОГО НОТАРИУСА

Он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостью Аруэта и старостью Шольё, разговорами Монтестье и Фонтенеля.

А. С. Пушкин. «Арап Петра Великого»

Пушкин, описывая парижскую жизнь своего предка Ибрагима Гапшибала, поместил его в среду тех людей, о которых больше всего тогда говорили образованные парижане.

Молодой Аруэт (поэт не имел еще тогда псевдонима «Вольтер»); старый, почти восьмидесятилетний аббат и поэт Шольё, «Анакреон Парижа», как называли его друзья, воспевавший в легких песенках любовь, вино и радость жизни; Монтестье, еще не написавший свою знаменитую книгу «Персидские письма», но уже обративший на себя внимание литературных салонов своим умом и остроумием; Фонтенель, бессменный секретарь Академии наук и автор красноречивых, широкочитаемых тогда «Разговоров о множестве миров» — вот люди, которых видел и слушал пушкинский Ганнибал. Нет сведений о том, действительно ли Ибрагим Ганнибал находился в их среде, но жизнь тогдашней аристократической Франции описана в романе А. С. Пушкина с доподлинной исторической правдой.

«...Ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени... — писал он, — алчность к деньгам соединялась с жаждой наслаждений и рассеянности; имущества исчезали, нравственность гнила, государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей». И в хоре этих «игривых сатирических припевов» раздавался голос молодого Вольтера, тогда еще Аруэта.

Его имя все чаще и чаще стало звучать в домах аристократов. До отца, нотариуса и чиновника счетной палаты, доходили тревожные слухи. Его сын прият самыми высокопоставленными семьями Парижа. Он свой человек среди старых вертопрахов, открыто насмехающихся над церковью. И это в то время, когда престарелый король предается молитвам. Передают, что сын г-на Аруэ, поднимая бокал за столом у принца Конти, заявил: «Мы все

здесь принцы или все поэты». Что скажет король, если до чего дойдет эта дерзость?

Старик решил поговорить с аббатом Поре, недавним учителем сына.

— Надо удалить мальчика из Парижа. Пусть едет в Кан, в тамошний университет. Кан — город спокойный и тихий, — советовал аббат. Сам он родился в Нормандии и обожал свою родину.

И вот молодой Аруэ в 1713 г. незадолго до окончания учебного года — в канском университете.

Здесь он в моде. Кое-кто проведал, что молодой поэт был принят в кружке парижских вельмож, и его приглашают наперебой местные дворяне. До провинциальной знати доходили слухи о вольнодумстве известнейших аристократов столицы и потому прослыть чуть-чуть оппозиционером для какого-нибудь провинциального льва или тщеславной светской дамы, открывавшей по четвергам свои гостиные для ужинов и литературных разговоров, — было весьма соблазнительно.

В Париже тем временем старый Аруэ неусыпно думал о своем сыне. Ему, конечно, никогда не приходило в голову, что его ветреник станет когда-нибудь главой европейского умственного движения, что каждое его слово будут ловить на лету, что народ будет его обожать, а короли бояться и льстить. Старый Аруэ видел своего сына на краю пропасти и не мог найти средства спасти его. Он не надеялся, что вдали от родительских глаз сын займется делом, то есть прилежным изучением права, и потому решил пристроить его к кому-нибудь из тех, кто мог бы наблюдать за ним и в случае крайней опасности немедленно известить отца. Старик узнал, что маркиз Шатонеф, брат того человека, который был крестным отцом и первым наставником мальчика, назначен послом Франции в Голландии, и упросил его взять к себе на службу сына. Посол не счел возможным отказать почтенному чиновнику, к семье которого был так привязан его покойный брат.

Когда девятнадцатилетний Франсуа-Мари, подчиняясь воле отца, прибыл в свите посла в Гаагу, он был поражен и покорежен тамошними порядками. Сочинения, сжигаемые во Франции, здесь лежали открыто на прилавках. Каждый день появлялись новинки, иногда привезенные издали, самые пашумевшие и скандальные. Газеты печатаются здесь же в книжной лавке, где-нибудь в подвале или во

внутреннем помещении магазина, и журналисты здесь же шумят, обмениваются мнениями, спешно строчат корреспонденции, статьи, политические обзоры. Поистине школа политического и философского свободомыслия. Маркиз-посол предоставил молодому Аруэ полную свободу, по-видимому, мало надеясь на то, что можно извлечь какую-нибудь пользу для дела службы из этого юноши, а дела службы были очень щекотливы. Только что закончилась война за Испанское наследство, одна из многих грабительских драчек, как мы уже говорили, затевавшихся в XVIII в. в Европе. С большим трудом, ценою самых отчаянных усилий и полнейшего истощения государственного бюджета, Людовику XIV удалось сохранить свой престол.

По Утрехтскому миру Голландия (она участвовала в антифранцузской коалиции) получила право содержать свои гарнизоны в пограничных французских крепостях. Людовик XIV боялся новых осложнений, стараясь сохранить хотя бы видимость победы (его внук герцог Анжуйский все-таки был водворен на испанский престол под именем Филиппа V), поэтому из Версаля шли строжайшие инструкции вести себя как можно тише, с внешним достоинством, но ни в коем случае ни с кем не ссориться и не затевать распрей. Местные власти держали себя заносчиво. В таком положении было французское дипломатическое представительство, в котором находился молодой Аруэ в качестве пажа посла, маркиза де Шатонеф.

В Голландии молодой поэт нашел много французов, бежавших от сурового режима Людовика XIV. Здесь все звучало Францией, но Францией иной, не той, которую он знал до сих пор, официальной, верноподданной, религиозной, а Францией запретной, оппозиционной, скептической.

Голландия когда-то дала приют двум прославленным французам — Декарту и Пьеру Бейлю. Последнего боготворил молодой Аруэ и не будь тот в могиле, он бы первым делом посетил его, принеся ему дань восторженной признательности. Но Пьер Бейль, скептик и материалист, мечтавший о государстве атеистов, друг Лейбница, автор знаменитого «Исторического и критического словаря» «написанного против вульгарных предрассудков» (Вольтер), уже восемь лет, как покоился в земле.

Голландия была страной политической свободы в Европе XVIII столетия, и, конечно, кое-какие задатки, от кото-

рых хотел избавить своего сына старый Аруэ, она только укрепила. Здесь можно было молодому французу научиться понимать пороки французского двора, осуждать религиозную нетерпимость Людовика XIV (гугеноты, изгнанные из Франции, привезли сюда свои капиталы и свою ненависть к французскому королю), презирать католицизм, но мыслитель без труда заметил бы, что Голландия уже безнадежно отставала. В экономике ее обогнала Англия, в культуре она уже плелась за Францией.

Картины ее прославленных мастеров предшествующего столетия еще хранили свежесть красок, их имена еще произносились в стране с внутренним трепетом. Но постепенно, как бы исподволь, шла переоценка ценностей. Утрачивались традиции великой эпохи.

Новое поколение художников, попуемое знатно, ведущей свое происхождение от цеховых мастеров Амстердама, Гааги, Утрехта, некогда искавших в живописи бесхитростные изображения кабачков и харчевен, сельских праздников с простодушным юмором и непритязательным реализмом, потянулось теперь к холодному и помпезному классицизму. Вкусы двора Людовика XIV возобладали в гостиных вчерашних голландских буржуа, разбогатевших и не желавших уступать в пышности и роскоши французским аристократам.

В Голландии произошло то, чего никак не предвидели ни господин посол, ни господин Аруэ-старший, отправивший своего сына в заграничное путешествие. Дело в том, что молодой поэт познакомился здесь с некоей госпожой Дюнуайе, французской, нашедшей в Голландии самую благоприятную почву для своих специфических дарований. Шумная, круглая, на коротких ножках, вся похожая на бочонок из-под пива, она была грозой европейских владык. Покинув своего супруга во Франции, предварительно разорив его, она с двумя дочерьми прибыла в Гаагу, где вскоре стала издавать газетку с колоритным названием «Квинтэссенция». Она стряпала самые сенсационные новости, не стесняя, конечно, себя особой приверженностью к истине. Все скандальное в жизни Версаля немедленно облекалось в соответствующую литературную форму и находило себе место на страницах «Квинтэссенции». Никакой политической линии, осмысленной борьбы с политическими принципами абсолютизма здесь, конечно, не было. Г-жа Дюнуайе интриговала, шумела ради привлече-

ния к своему листку большого круга читателей. Она издевалась и осмеивала французский двор, и это не могло не быть замечено молодым Аруэ. Он с любопытством читал листок и не без интереса говорил с отчаянной журналисткой. Та в свою очередь заинтересовалась своим молодым соотечественником, недавно прибывшим из страны, куда теперь доступ ей был закрыт. Она хотела выудить у него какие-нибудь новости, полезные для газеты, а может быть, и использовать его литературные дарования.

Однако вскоре г-жа Дюнуайе заметила, что молодой француз меньше слушает ее, а больше поглядывает на ее младшую дочь. Девушка была старше юноши на два года, но это не помешало пажу французского посла влюбиться в нее. Робкая девушка, к которой маманша применяла самые строжайшие принципы домашнего деспотизма, сразу же откликнулась на сердечную склонность молодого Аруэ. Начались нежные встречи, обмен посланиями.

Но домашний Аргус не дремал. «Я не из таких, которых легко обвести вокруг пальца», — заявила г-жа Дюнуайе и тотчас же отправилась к французскому послу.

— Я не потерплю, чтобы ваш служащий соблазнял и позорил мою дочь. Я подниму против вас всю Европу. У меня эти штучки не пройдут, — гремела Дюнуайе.

— Успокойтесь, сударыня. Я приму все меры. Он сегодня же покинет Гаагу, — лепетал терроризированный посол, больше всего боявшийся каких бы то ни было осложнений и скандалов. К тому же слава г-жи Дюнуайе ему была хорошо известна.

Как только вечером Аруэ появился в посольстве, его привели к маркизу. Последовал категорический приказ немедленно уезжать. И Аруэ в сопровождении «верного лица», обязанного доставить его на место, отбыл из Гааги в яхте в направлении Антверпена.

В Париже отец был уже обо всем осведомлен. Маркиз информировал его обо всех подробностях любовной истории. На этот раз старик рассердился не на шутку. Он не хочет видеть сына. Тот почует у друзей, не появляется дома. От лиц, «желающих ему добра», Аруэ-младший получает следующее сообщение:

«Сударь! Господин ваш отец очень гневается на вас. Он уже получил ордер на ваш арест. Лица, желающие вам добра, уговорили его не прибегать к этому, но они не смогли уговорить его не исключать вас из завещания, он

лишает вас наследства. Это еще не все, он хочет отправить вас на «острова», да, сударь, на хлеб и воду».

Сын не сдается. Новое донесение от лиц, «желающих ему добра»: «Сударь, господин ваш отец согласен не посылать вас на «острова», но вы должны встать на пансион к какому-нибудь прокурору для подготовки к профессии судьи».

Сын между тем пишет самые восторженные и самые нетерпеливые письма в Голландию. Он зовет возлюбленную в Париж: «Подумайте только, как многим вам должна быть ненавистна Голландия. Спокойная жизнь в Париже, разве это не лучше, чем быть в обществе г-жи вашей матери... Не бойтесь тех порывов, которые вы называете героическими...»

Каждый день Аруэ бежит на почту, но писем из Гааги нет. Наконец после долгих ожиданий ответ пришел: холодное, официальное: «Сударь!», и ни слова о любви.

Больше писем не было. Девушка вышла замуж¹.

Аруэ-сын в конце концов смирился. Он «прикомандирован» к г-ну Алену, прокурору Шатле, проживающему на улице Паве-Сен-Бернар около площади Мобер. Он служит у него в качестве клерка, писца, проходит «практику». У него же и столуется. С ним вместе на том же положении второй юноша — Тирио. Тирио умен, тонок в суждениях. И ко всему остальному он не прочь, как и сам Аруэ, поухаживать за хозяйкой дома. Супруга прокурора совсем еще не стара и мило краснеет, когда кто-нибудь из

¹ В сентябре 1736 г. (22 года спустя после описанных событий) из Сирея Вольтер писал аббату Муллино, своему казначею: «Купите маленький письменный столик, который одновременно мог бы быть и экраном к камину, и пошлите его от моего имени г-же де Винтерфельд на улицу Платриер». Г-жа де Винтерфельд — это та, которая была в Гааге прелестной девушкой по имени Олимпия Дюнуайе. После смерти матери, в 1719 г., она приехала во Францию и осталась в ней на постоянное жительство. С ней виделся Вольтер в 1721 г. и оказал ей какую-то финансовую услугу. Наконец последнее упоминание об Олимпии — 5 февраля 1754 г. Шестидесятилетний Вольтер писал своей племяннице г-же Дени из Кольмара: «Г-жа де Винтерфельд не получила маленького пакета, который я послал вам на ее имя несколько дней тому назад. Она — кузина г-жи де Помпадур. У нее был с ней разговор, касающийся меня, и г-жа де Помпадур лестно отзывалась обо мне. Жаль, что мое письмо не было доставлено...»

Здесь, как видим, имя маркизы Помпадур, всемогущей фаворитки Людовика XV. Вольтер дорожил подобными связями.

молодых людей подаст ей оброненный платок или упавший веер.

Вечером приятели идут в театр, завязывают дружбу с актерами, заглядывая за кулисы. Старые друзья Аруэ, узнав о его возвращении из Голландии, спешат снова привлечь его на свои шумные пирушки.

Аруэ, однако, вовсе не так беспечен, как это кажется с виду. Он сказал отцу, что будет поэтом, и он будет им. В это он верит, как в реальность самого себя. Он посылает на конкурс Академии оду. Академия, по желанию Людовика XIV, хотела почтить одно из распоряжений, некогда отданных его отцом (речь шла о какой-то пристройке внутри собора богородицы в Париже), и потому объявила конкурс на сочинение оды. Аруэ верил, что премия должна быть присуждена ему. Из тех, кто с ним состязался, никто не владел пером так, как он.

Но премию присудили другому — семидесятипятилетнему аббату Дюжарри. Председательствующий Ламот не принял в расчет достоинство стихов. И разгневанный Аруэ тотчас же строчит самоуверенно насмешливые стихи против Ламота и его протеже Дюжарри. Стихи облетели Париж. Смех. Улыбки. Притворное сочувствие пострадавшим. «Вы слышали?» «Вы читали?» «Бедный Ламот!» «Бедный Дюжарри!»

Ламот, обиженный, оскорбленный, обратился к властям. Новая забота старику Аруэ. Его сын явно не хочет жить спокойно. И он отправляет его к своему старому клиенту маркизу Комартену в замок Сент-Анж. Маркизу уже шестьдесят лет. Замок его великолепен. Огромный парк, широкие аллеи, газоны, искусственные холмы, искусственные земляные террасы, каналы. В замке галерея портретов самых известных государственных деятелей Франции последних столетий. Среди них портрет короля Генриха IV. Здесь бывали Буало и Лафонтен. И хозяин дома гордится этим больше, чем неоднократными визитами короля по дороге в Фонтенбло.

Он слишком богат, чтобы робеть перед королем, и слишком умен, чтобы ценить иступленную религиозность г-жи де Менгено, супруги короля, он первый из «дворян мантии» (государственных чиновников, которые занимали второе место после «дворян шпаги», военной аристократии) осмелился ввести в свой гардероб бархат и шелк, что отметил в своих мемуарах Сен-Симон, словом, он чуть-

чуть оппозиционер и не по праву Людовику XIV. Во всяком случае он бесконечно любезен с молодым гостем. Он окружает его самой большой заботой. Аруэ слушает его занимательный разговор. Комартен хранит в своей памяти сотни любопытных подробностей политической жизни Франции. «Это живая история!» — восторженно восклицал Аруэ. Впоследствии Вольтер-историк использует рассказы Комартена в своей книге «Век Людовика XIV».

В замке царит культ Генриха IV. Воображение молодого поэта охвачено картинами религиозных войн XVI столетия: дикие кровавые оргии фанатиков, резня Варфоломеевской ночи, преступления церкви. Сколько крови! Сколько жертв! Сколько страданий человеческих!

Генрих IV положил им конец. Его Нантский эдикт, давший свободу вероисповедания, успокоил религиозные страсти, и Франция после сорокалетних смут обрела мир. Церковь, предрассудки, фанатизм, невежество — вот источник бед, вот корень зла! Так возникает замысел будущей поэмы «Генриада».

СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV

В глазах Людовика XIV, Генриха IV, Людовика XVIII во Франции было только два рода людей: благородные, которыми нужно было управлять посредством чести и вознаграждать голубой лентой, и чернь, которой в торжественных случаях бросают груды колбас и окороков, по которую нужно безжалостно вещать и убивать, как только она вздумает возвысить голос.

Степдаль

Утром 1 сентября 1715 г. в своем Версальском дворце после двадцатитрехдневной болезни скончался Людовик XIV, прожив 77 лет и процарствовав из них 72 года, 3 месяца и 18 дней.

Народ уже привык к мысли о возможной, и, вероятно, скорой кончине короля. Король был стар. К тому же последнюю неделю во всех церквах Франции служили молебны об избавлении короля от болезни. В толпе шептались, что у короля почернела нога и антонов огонь подбирается к сердцу. Однако теперь, когда весть о его смерти облетела

ла страну и в первую очередь Париж,— оцепенение охватило всех. Каждый понимал, что закончился какой-то важный этап в жизни общества и начался новый. Что-то он сулит?

Личность короля наложила глубокий след на всю жизнь людей. Вежливый и холодный, всегда на людях, до последних дней строго исполнявший все предписания дворцового этикета, отходивший ко сну и встававший с постели в парадной спальне, как на сцене, в окружении придворных, он и умер так же парадно, театрально, как и жил, перед толпой дворцовой челяди.

За день до смерти, придя в сознание после долгого забытья, он сказал г-же де Ментенон, своей супруге:

— Вы плачете, мадам? Я ведь уйду к великому Сюзерену. Он над всеми королями...

Но на земле он считал себя богом. Каждое его слово, жест, взгляд становились событием. В течение сорока пяти лет каждый день в особую книгу записывались ничтожные колебания его могучего здоровья (протокол вскрытия тела засвидетельствовал великолепное состояние его сердца). Маркиз Данжо, его адъютант, с наивностью ребенка и подобострастием придворного занес на страницы своего дневника все мелочи дворцового быта за последние тридцать лет жизни Людовика XIV, и это составило 19 томов печатного текста.

Людовик XIV был бы, видимо, недурным человеком, когда бы не воспитание, полученное им под наблюдением кардинала Мазарини, и не ложное представление о непогрешимости своих решений. В быту он никак не выглядел извергом, подобно Людовику XI. «Трудно поверить,— язвительно писал знавший его Сен-Симон,— он родился добрым и справедливым». Людовик XIV окончательно утвердил во Франции абсолютизм, сосредоточил в едином центре все бразды правления, он же обозначил и его политические пороки, открыв шлюзы для правительственных злоупотреблений, приведших его к окончательному краху в конце XVIII в. «Людовик XIV, запомним это, стал с помощью Мазарини продолжателем Ришелье, продолжавшего в свою очередь дело Екатерины Медичи,— вот три величайших гения абсолютизма в нашей стране»,— писал впоследствии Бальзак. Людовику XIV принадлежит печально-знаменитая фраза: «Государство — это я». В этой фразе идея абсолютной власти выражена с афори-

стической емкостью. Но король преувеличивал свою роль. Один из его царедворцев, умный и наблюдательный Сен-Симон, писал о нем: «Он царствовал только в кругу второстепенных вопросов, для более важных у него не хватало сил, но и в незначительных делах им управляли другие». Он был тщеславец, уже при жизни его называли «великим», кто-то сказал, что «он — солнце», и словечко подхватили, оно правилось королям, оно тешило национальное самолюбие французских историков. Его называли «бессмертным»: льстецы в глаза — имся в виду его «вечную славу», те же льстецы, но за глаза — намская на его долголетнюю жизнь. Никто не помнил, когда король начал царствовать (72 года на троне!).

И вот теперь он скончался.

Народ... ликовал. Шутки и смех раздавались у гроба короля-солнца, сатирические куплеты сопровождали погребальный кортеж из Версаля в Сен-Дени, усыпальницу французских королей.

Через тридцать шесть лет Вольтер напишет книгу «Век Людовика XIV», лучший свой исторический труд. Но тогда, двадцатилетний, он только наблюдал.

В чьих руках будет теперь государство? Этот вопрос волновал французов еще при покойном короле. Ответ терялся в запутанном, до сих пор не разгаданном клубке мрачных и загадочных событий.

Еще при жизни короля единственный сын Людовика XIV неожиданно скончался. Через год скончался принц Бургундский (внук короля) и его жена. Вслед за ними умер их старший сын, еще мальчик. Последний внук короля, Филипп Анжуйский, правил в Испании и отказался от французской короны. Герцог Беррийский, зять герцога Орлеанского, также умер, как полагали тогда, от яда, подобно своему отцу, брату, племяннику.

Претендовать на престол мог теперь только совсем еще ребенок последний сын Бургундских. Не будь этого мальчика, трон могли оспаривать совсем уж далекие от него герцог Орлеанский, племянник короля, и герцог дю Мен, побочный сын короля. Но младший сын герцога Бургундского, правнук Людовика XIV, остался в живых, он вошел потом в историю под именем Людовика XV.

Кто был повинен в гибели стольких людей? В народе высказывались самые различные догадки — подозревали отравление. Больше всех подозрений вызывал герцог Ор-

леанский. Говорили: он прокладывает себе дорогу к трону, в их семье такие приемы не новы: первая жена его отца Генриетта Английская была найдена в своей постели мертвой, она была отравлена. К тому же герцог Орлеанский занимается химией. Он держит в своем доме химическую лабораторию и т. д.

Трудно сейчас что-нибудь сказать по поводу всех этих смертей¹. В те времена медицина не всегда могла отличить естественную смерть от насильственной, и часто скоропостижную кончину приписывали яду. Однако худая слава сопровождала в народе имя герцога Орлеанского. Он несколько этим не смущался, не скрывал своего образа жизни. Шумные празднества и оргии проходили самым скандальным образом в его дворце. Певеселой славой пользовался и наставник герцога — кардинал Дюбуа. Словом, все говорило против герцога.

Народ встречал его криками недовольства и даже придворные сторонились его. Говорили, что Людовик XIV привлечет его к суду. Но ничего этого не случилось. «Мой племянник — фанфарон от преступлений, не больше», — сказал король.

Умирая, он призвал его к себе.

«Я поручаю вам дофина. Я уверен, что вы воспитаете его надлежащим образом и сделаете все для облегчения жизни его подданных».

Король был на сцене и должен был играть свою роль, даже умирая.

По смерти короля было вскрыто его завещание. Король утверждал особый контрольный орган, Регентский совет. Это не обескуражило герцога. Он вернул Парижскому парламенту некоторые права, отобранные у него Людовиком XIV, и завещание покойного короля было оставлено без последствий. Так он обеспечил себе неограниченную власть на время младенчества нового короля.

Франция вельмож, Франция богачей, Франция дворцов мгновенно переменилась. Сброшены были маски религиозного смирения, аскетического вегетарианства, показного целомудрия. Празднества, самые пышные, самые расточительные, хмелем и буйством страстей охватили страну.

¹ Сен-Симон писал по этому поводу в своих «Мемуарах»: «Перо отказывается касаться этих потрясающих тайн».

Во дворце принца Вапдомского, куда возвратился хозяин, сосланный когда-то покойным королем, возобновились знаменитые ужины с насмешками над всем и вся. Здесь собираются эпикурейцы и либертены XVII в. доживающие свои дни в XVIII¹. Старейший из них — поэт Шольё. Он ослеп, но по-прежнему весел и печестив. Здесь Сюлли и Комартен, аббат де Бюсси, шевалье д'Эди и де Ко, Куртэн, Ла Фар, герцог Аренберг, президент Гено и среди них молодой Аруэ, вернувшийся из Септ-Анжа в Париж вместе с Комартеном. Аруэ охотно злословит по адресу ханжей и попов, блещет остроумиями и поэтическими экспромтами.

В пародии между тем ходили сатирические куплеты, которыми Франция была всегда богата. Некоторые из них доходили до ушей регента. Общественное мнение для последнего никогда ничего не значило. Он смело бравировал пороками. Но кос-какие вещи все-таки считал не подлежащими оглашению. А между тем по рукам ходили стихи, написанные мастерски, в которых прозрачно намекалось на его, Филиппа Орлеанского, имя. И 4 мая 1716 г. последовал приказ властей выслать молодого Аруэ в Сюлли-ла-Луаре, «где имеются родственники названного, пример и наставления которых могут умерить живость его характера».

Большой опасности в молодом Аруэ власти тогда не видели, объясняя его сатирические выпады молодостью и живостью характера. Итак, Аруэ снова в ссылке, и снова, как и год назад, — в великолепном феодальном замке Сюлли, с глубоким прошлым, с романтической славой. Отец устроил сына к своему клиенту герцогу Сюлли. По-

¹ Слова «либертены» и «эпикурейцы» имели в XVII и XVIII вв. особый смысл и связывались с религиозным свободомыслием. Либертен (от лат. *libertinus* — освобожденный) — человек, свободный от религиозных предрассудков. Эпикурец — последователь Эпикура, греческого философа-материалиста (341—270 гг. до н. э.), призывавшего людей освободиться от гнета ложных страхов перед смертью и загробными страданиями и радоваться всем радостям, какие дают человеку жизнь, телесное здоровье и душевное равновесие. Эпикур в сущности подрывал веру в богов. К. Маркс и Ф. Энгельс называли его величайшим просветителем древности. Христианская церковь, проповедуя аскетизм, резко осуждала Эпикура и его последователей, отсюда пошло извращенное толкование его философии, как призыва к безудержному чувственному наслаждению, и слова «либертены» и «эпикурец» приобрели отрицательную окраску.

следнему около пятидесяти лет. Он и его супруга знали Аруэ-сына еще мальчиком. К тому же они интересуются литературой, а юный Аруэ пишет такие изящные стихи, полные ума и блеска, так много обещает в будущем.

Замок, связанный с именем Ла Тремуа, а через него и с Жанной д'Арк, был куплен в начале XVII в. министром Генриха IV герцогом Сюлли, предком гостеприимного хозяина, принимавшего теперь у себя молодого Аруэ. Здесь бывал не раз Генрих IV. Сохранилась спальня короля.

Генрих IV, убитый сто лет до того на одной из узких улиц Парижа фанатиком Равальяком, — убитый мерзко, предательски, из-за угла, ножом в живот, — вошел в пантеон мучеников веротерпимости ценою этой своей гибели. И замок, в котором теперь пребывал молодой Аруэ, парк, окружающий замок, мнится, хранили в себе что-то от короля — философа, друга и собеседника великого Монтеня. Вольтер не впадал в аффектацию. Правда, как мы увидим потом, он отдавал дань чувствительности своего века, но всегда за патетическим возгласом мы слышим приглушенный вольтеровский смехок. И сейчас не воображение поэта, а мысль политика, философа владела им. Генрих IV провозгласил принцип терпимости в годы сумрачной власти католической церкви, кликушества, религиозного изуверства, братоубийственной войны.

Замок с виду был довольно мрачен. Окруженный водой, он казался неприступным, недаром здесь в годы Фронды спасались Анна Австрийская и ее подросток сын, король Людовик XIV.

В наши дни, во время второй мировой войны, на замок упало несколько бомб. Он сильно пострадал. Ныне восстановительные работы закончены, и многочисленные туристы снова заполняют и парк, и широкую залу, где некогда Вольтер устраивал театральные представления.

Хозяин гордился историческим прошлым замка. Для Аруэ все здесь дышало историей. Он продолжал свою работу над «Генриадой», трагедией «Эдип» и между делом писал мадригалы для дам, читал свои стихи посетителям замка. В большой и блестящей толпе гостей был и его давний знакомый аббат Куртэн, с которым он встречался еще у Шольё. Аруэ весело шутил над дородностью Куртэна и заодно над собственной тощей фигурой. Славил красоту здешних мест, тенистые аллеи.

Осенью хозяин и его гости покинули замок. Уехала и прелестная Сюзанна де Ливри, дочь чиновника Бюро финансов, которой молодой Аруэ уже успел поклясться в «вечной любви». Только весной удалось ему вернуться в столицу.

Аруэ всегда с трепетом душевным въезжал в Париж. Ему никогда не удавалось в нем долго задерживаться. Власти никак не уживались с «живостью» его характера. Но он любил Париж, город своего детства. Любил его шум, его суетливую жизнь и бурную, быстро меняющую свои привязанности, легко переходящую от гнева к шутке, от крика к веселой песенке — парижскую толпу. У Пушкина есть признание: «Я люблю шум и толпу — как и Вольтер».

ПЕТР ПЕРВЫЙ ВО ФРАНЦИИ

Что скажете вы, сударь, о путешествии царя Московии и о прекрасном его замысле вырвать из варварства свой народ? Не правда ли, в этом есть что-то из ряда вон выходящее?

Лейбниц¹. Письмо к принцу Ганноверскому, 18 июля 1698 г.

Путешествие Петра I — это целая эпоха в истории не только его страны, но и в истории нашей страны и всего мира.

Маколей²

Весной 1717 г. Франция была взволнована чрезвычайным известием. Предстоял неофициальный визит Петра Первого.

Отношения между Францией и Россией были довольно прохладны. Их ничто не связывало. В то время, когда Петр I вел ожесточенную войну со шведским королем Карлом XII, Франция была занята войной за Испанское наследство. Ей было не до России. Англия боялась того,

¹ С Лейбницем, ученым и философом, Петр встречался неоднократно, любил его беседу, ценил его ум, научные открытия, приглашал в Россию.

² Маколей — историк, критик, политический деятель. Его «История Англии от восшествия на престол Якова II» (т. 1—5, 1849—1861) очень ценится англичанами.

Петр I.
Гравюра
Якова
Хубракена
с портрета
работы
Карла
Моора.



что Карл XII завяжет какие-либо связи с Францией и тем усилит ее позиции, потому очень благосклонно глядела на действия Петра, отвлекавшие силы Карла. Франция была в дружеских отношениях с Турцией, что противоречило тогда внешнеполитическим интересам России. Людовик XIV хотел поставить на польский престол француза, принца Конти,— Петр воспротивился этому. Словом, никаких общих интересов у России и Франции тогда не было. Петр не бывал во Франции, относясь неодобрительно к высокомерию Людовика XIV и к роскоши его двора, не посылал он туда и русских людей для обучения.

И вот теперь Петр решил совершить путешествие в эту страну. После блистательных побед русской армии отношение в Европе к России и к личности ее государя было уже иным. Вольтер в своей книге «Век Людовика XIV», в которой он подробно и обстоятельно рассказал о больших и малых событиях времени, ни словом не обмолвился о России, настолько была мала ее роль в европейских делах XVII столетия. Теперь, после Полтавской битвы, Россия становилась в ряде важных вопросов всеевропейским по-

литическим арбитром, поэтому визит русского царя во Францию сулил ей много политических выгод.

Утрехтский мир был далеко еще не упрочен. Англия все еще терзалась сомнениями, не продешевила ли она испанский трон. Германский император после поражения Швеции чувствовал себя почти полновластным хозяином в Западной Европе. Внешнеполитическое положение Франции было отнюдь не завидное, и приезд русского царя в такой момент был как нельзя кстати.

К тому же и для внутривластного престижа регента визит царя был очень желателен. (Народ уверует в авторитет своего правителя.)

Поэты, историки, люди науки жаждали увидеть необыкновенного человека, поднявшего малодоступную и малоизвестную европейцам Московию на высоту первейшего государства мира, с могучей армией, с новейшим техническим оснащением ее, с великолепным флотом, рожденным как бы по мановению волшебного жезла. Петр пробил стену, так долго искусственно и упорно сохраняемую политиками Западной Европы между Россией и Западом.

Культура западноевропейских народов рекой хлынула в далекую Московию. Люди науки и искусства не могли не приветствовать это, и Петр уже тогда снискал славу великого преобразователя.

Простой народ Франции наслышан был о необыкновенном демократизме царя. Все ждали Петра.

Регент послал в Дюнкерк для встречи именитого гостя одного из своих чиновников, некоего г-на Либоя. Тот был обескуражен. Штат царя насчитывал около 80 человек, а денег в распоряжении Либоя имелось всего лишь около полутора тысяч ливров. Русские о том проведали, и лукавому озорству их не было конца. Либой доносил в Париж о необычном для французских аристократов распорядке дня царя: «Обедает в десять часов, ужинает в семь и в девять отходит ко сну. Пьет ликер перед едой, в послеобеденные часы — вино и пиво, за ужином пьет мало или не пьет совсем. Ест все наши кушанья, пьет все наши вина, кроме шампанского».

Петр отказался от предоставленной ему кареты. Просил дорожную двуколку. Обыскали весь город, едва могли сыскать одну, но царь не взял ее. В Кале Петр ждал, когда ему сделают повозку по его вкусу.

Приставленный к нему маркиз Майли-Нель, блестящий кавалер, менявший каждый день костюм, раздосадовал Петра. Особой симпатией не воспытал к нему и придворный шаркун, как свидетельствуют его донесения в Париж.

Петр не любил парадных встреч. В Бове для него был приготовлен концерт, увеселительные огни, в предполагаемой спальне царя повесили портреты Алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной, его родителей, но Петр заночевал в дорожной гостинице, недалеко от города, заплатив за ночлег по счету за себя и за весь свой штат из собственного кошелька.

7 мая в воскресенье Петр прибыл в Париж. Улицы Сеп-Дени и Сент-Опоре были украшены, из всех окон глядели люди. Царя ждали в Лувре. Ему были подготовлены самая роскошная спальня и самая роскошная во всем королевстве кровать (подарок г-жи де Ментенон Людовику XIV). Стол на 60 персон был уставлен самыми изысканными блюдами. Петр попросил хлеба, репы, попробовал шесть сортов вин, запил пивом, погасил часть свечей (их было слишком много), потом, оглядевшись вокруг, заявил, что ему здесь не нравится.

По совету Толстого, тогдашнего русского посла во Франции, который знал вкусы царя, в его распоряжение был предоставлен отель Ледигьер на улице Серизей. Туда Петр приказал принести его походную кровать и устроился как на бивуаке.

Утром в понедельник в отель Ледигьер явился с визитом регент. Петр обнял его несколько небрежно и, указав на дверь кабинета, вошел первый. Это было отмечено как проявление крайней невоспитанности. Затем последовала встреча с королем.

В комнату, предназначенную для встречи двух монархов, были поставлены два трона. Куракин переводил речь Петра королю. Людовик XV, семилетний мальчик, белокурый, очень миловидный, вошел в сопровождении своих воспитателей, герцога дю Мена и престарелого маршала Вильруа, довольно бойко пролепетал подготовленную ему речь. Петр улыбался:

— Брат мой, я давно хотел видеть французского короля. Теперь я доволен, видя Его величество. Я знаю много языков, но хотел бы все их забыть и знать только французский, чтобы говорить с вами.

Теперь Петр с жадностью ребенка принялся за изучение французской столицы. Он отказался от какого-либо экипажа. Ходил по улицам города пешком и только иногда, когда уставал, брал первую попавшуюся карету. Его интересовало все: люди, их образ жизни, их труд. Он оставался, заговаривал то с тем, то с другим. На базарной площади он вошел в толпу, но не смешался с ней. Он был на голову выше остальных. Там его увидел Вольтер. Он глядел на него, не зная еще тогда, что будет первым историком этого человека. Одет Петр в серый камзол, довольно грубый и без всяких украшений. Куртка серая льняная, только пуговицы из драгоценных камней. Без галстука, без манжет. Никаких кружев. Португезя отделана серебром. Маленький кортик.

Позднее Вольтер писал о нем: «Петр Великий был высокого роста, хорошо сложен, держался непринужденно. Лицо благородно, глаза живые, темперамент здорового человека, способного переносить любые испытания и любые тяготы. Его ум был трезв, что всегда отмечает истинные таланты, и эта трезвость его мышления сочеталась в нем с особым беспокойством природы, стремившейся все познать и все сделать».

Речь Петра была энергична, голос довольно высок. Лицо часто оживлялось улыбкой. Портрет Петра дал герцог Сен-Симон в своих «Мемуарах». Вот что он писал: «Очень высокий и сильный человек. Великолепно сложен, худощав, круглолиц. Большой лоб, чудные брови, нос в меру короток, в конце несколько толстоват, губы довольно полные, цвет лица красноватый, темный. Чудные черные глаза, большие, живые, пронизательные, изумительный разрез глаз. Взгляд величествен и обаятелен, когда он следит за собой, но строг, жесток, с тиком, который не очень часто повторяется, но совершенно изменяет и глаза и все лицо. Тогда он страшен. Это длится мгновение: взгляд блуждающий и грозный, но тут же все проходит. Весь его вид обличает в нем ум, работу мысли, его величие и не лишен обаяния. Он носит маленький полотняный воротник, круглый парик, коричневый, без пудры, не достигающий до плеч, коричневый одноцветный камзол с золотыми пуговицами, куртку, штаны, чулки, ни перчаток, ни манжет. Орден на груди, над ним лента. Камзол часто расстегнут, шляпа на столе и иногда на голове, даже когда он на улице. При всей его простоте, в каком бы эки-

паже он ни ехал, в сопровождении кого бы он ни был, нельзя было ошибиться в значительности его личности. Величие его проявлялось в нем как бы само собой, как свойство его натуры».

Ему показали сокровища королевского дома. Он сказал, что не разбирается в драгоценностях и не может ценить того, что не дает реальной пользы. Его повезли в Фонтенбло на охоту, он не нашел в ней никакого удовольствия. Отказался видеть принцесс крови. С регентом был несколько грубоват, с мальчиком-королем дружелюбен. Когда Людовик преподнес ему карту России, Петр был тронут. Он тут же стал объяснять мальчику, как хочет соединить каналами Каспийское и Черное моря. Потом показал весь путь, который прошла русская армия, идя на сближение с армией Карла XII, под Полтавой. Посетив Сорбонну, обнял статую Ришелье, ничего при этом не сказав.

Французы запомнили этот жест Петра, они поняли его символический смысл. Через сто двадцать лет Бальзак, говоря об основателях абсолютизма во Франции, писал: «Петр Великий хорошо понимал их; обнимая статую кардинала, он, может быть, хотел перенести его дух на Север!»

Вольтер, однако, несколько по-иному рассказал об этом эпизоде в своей книге о Петре: «Не могу удержаться от того, чтобы не сообщить читателю о восторге, каким он (Петр.— С. А.) был охвачен перед могилой кардинала Ришелье. Почти не обратив внимания на совершенство самой скульптуры, он весь был поглощен созерцанием облика министра, который завоевал себе славу в Европе, оживляя ее деятельность, и вернул Франции ту славу, которую она потеряла после смерти Генриха IV. Как известно, он обнял статую и воскликнул: «Великий человек! Я бы тебе отдал одну половину своих земель, чтобы ты научил меня управлять другой» (*Se non e vero, e ben trovato*). Если это было и не совсем так, то патристические пристрастия француза Вольтера, сказавшиеся в этой маленькой неточности, по правде говоря, и трогательны и простительны.

Богословы Сорбонны стали упрашивать Петра ввести в России католичество.

— Я солдат. В делах религии ничего не смыслю,— уклончиво ответил Петр.

Богословы настаивали. Чтобы закончить разговор, Петр предложил им написать ему соответствующую памятную записку:

— Я передам своим епископам. Пусть решат они.

Петр не расставался с записной книжкой (таблицами). Записывал все примечательное, важное для России. Побывав в Академии, он записал: «Основаť Академию в Петербурге». Академик Бинью показал ему машину, поднимающую воду вверх. Петр был в восторге.

Посетил Монетный двор. Поднимался на башни собора Парижской богородицы. Смотрел королевскую библиотеку. В обсерватории засыпал вопросами географа Делиля и химика Жоффроя. С большой симпатией говорил с учеными, но не оказывал никаких знаков внимания герцогине де Роган, которая была от этого в бешенстве.

Рыскал по Парижу, заглядывал во все мастерские, дружески обнимал рабочих. Посетил фабрику гобеленов. Увидел ребенка, семилетнего мальчика (рабочего), обнял его, поцеловал. Рассматривал, расспрашивал, записывал. Пожелал увидеть г-жу де Ментенон. Для этого поехал в Сен-Сир. Напуганная супруга покойного короля оказалась больной. Войдя в ее спальню, Петр просит открыть окна, раздвинуть полог кровати. Подойдя к кровати, молча взглянул в лицо старухи и, не сказав ни слова, удалился.

Сен-Симон по этому поводу ядовито замечает в своих «Мемуарах», «она была очень удивлена и еще более оскорблена, но покойного короля уже не было в живых...»

Вольтер объяснил желание Петра увидеть г-жу де Ментенон, небогатую когда-то особу, ставшую в свое время по нужде женой писателя Скарона, полного инвалида, и поднявшуюся потом до придворной дамы и тайной супруги короля, сходством ее судьбы с судьбой жены самого Петра, Екатерины, вышедшей из низов. «Это сходство браков Людовика XIV и его собственного, вызвало его живое любопытство, но была большая разница между ним и королем Франции: он женился открыто и на героине, а Людовик XIV тайно и не более как на привлекательной женщине. Царица не сопровождала его в путешествии: Петр предвидел сложности этикета и любопытство двора, неспособного оценить достоинства женщины, которая от берегов Прута и до Финляндии делила с ним смертельные опасности на море и суше».

Вольтер всегда и везде подчеркивал превосходство Петра перед тогдашними владыками государств.

Петр посетил Ботанический сад, Дом инвалидов. В столовой потребовал суп, какой подают солдатам, пил за их здоровье, дружески хлопал их по плечу, называл товарищами. С маршалом Виларом держался как с другом. Рассказывал ему о Полтавском сражении. Первый раз любезен с дамой, супругой маршала.

Посетил анатомический музей. Встретился с маршалом д'Эстре, хотел знать состояние морского дела во Франции. По воде проехал в Париж. Ему было необходимо обязательно проплыть под всеми мостами французской столицы.

Присутствовал вместе с регентом в Парижской Опере. Во время представления заснул. В Люксембургском дворце у герцогини Берийской (дочери регента) восхищался картинами Рубенса.

Придворные были немало шокированы. Он их не замечал — ни принцев крови, ни сеньоров, ни их супруг. Казался странным, экстравагантным. По его заказу для него был сделан парик. Мастер потребовал огромных денег. Петр дал десятую часть. Спорил, торговался. На чай давал гроши. Петр был лукав. Уезжая из Парижа, он оставил однако слугам отеля 60 тысяч ливров, 3 тысячи телохранителям, 30 тысяч рабочим фабрик, которые он посещал. Он дарит направо и налево золотые медали, с изображением важнейших событий своей жизни.

Французы дивились: странен русский царь!

20 июня он покинул Париж, «оставив Францию очарованной его гением, широтой познаний и необыкновенным своим характером», — писал один французский автор.

Вольтер, или тогда молодой Аруз, только с неделю мог что-либо знать о Петре, или иметь возможность видеть его. В его жизни произошло нечто серьезное, что изъяло из орбиты его внимания чудесного московского гостя. 16 мая, через девять дней после прибытия Петра в Париж, Аруз был арестован и препровожден в Бастилию.

Однако облик русского царя-преобразователя, так не похожего на всех остальных монархов, дерзко ломавшего стародавний уклад жизни и традиционные жизненные принципы своих подданных, не мог не запечатлеться в памяти юнго бунтаря, каким был в ту пору Аруз-Вольтер.

БАСТИЛИЯ

Господин де Бернавиль, я пишу вам с ведома моего дяди герцога Орлеанского, регента, дабы уведомить вас о моем решении освободить господина Аруэ, коего вы содержите под стражей в моем замке Бастилии.

Л ю д о в и к XV
Писано в Париже 11 апреля 1718 г.

Это писал мальчик, восьмилетний король Людовик XV, коменданту главной государственной тюрьмы Франции. Пожалуй, тогда он еще не знал, кто такой господин Аруэ и почему он содержится в Бастилии, он вывел свою подпись на правительственной бумаге детской рукой и с великим старанием, может быть, помогая себе языком. Впоследствии, став взрослым, он его узнает и будет ненавидеть с холодным постоянством.

Но тогда он выполнял волю своего дяди. Филипп Орлеанский не случайно заставил ребенка писать это распоряжение. Это была своего рода ирония, острота светского человека. Узник, господин Аруэ, был посажен в Бастилию за стихи об этом «царствующем мальчике».

Заглянем в предысторию, за одиннадцать месяцев до того.

На столе регента лежали стихи, написанные по-латыни и содержавшие политические обвинения властям:

- Царствует мальчик.
- Правит отравитель и кровосмеситель.
- Советники — трусы и профаны.
- Казна пуста.
- Общественное мнение подавлено.
- Царит ужас беззакония.
- Родина принесена в жертву преждевременных притязаний на трон.
- Франция на краю гибели.

Кто, кто автор сих дерзостных стихов? Что знает об этом полиция?

И полиция стала искать виновного. Под наблюдение прежде всего, конечно, был взят Аруэ. Он жил в доме отца, но, кроме того, снимал меблированную комнату на улице Каландр, недалеко от дворца и рынка Палю. Начальник полиции решил не торопиться и подослал к поэту своего человека, «приятеля», офицера Борегара.

Людовик XV.
Портрет
работы Мориса
Лагура.



— Ты видел это?

Борегар вытащил из кармана листок со стихами... Аруэ, улыбаясь, прочитал свое собственное сочинение.

— Любопытно. Но я уже читал это несколько месяцев назад, до отъезда в Сент-Анж.

— Не знаешь, кто автор?

Аруэ многозначительно засмеялся.

— Я слышал, что это монахи-иезуиты?

— Как бы не так! Вороны в павлиньих перьях! Куда им!

— Аруэ, а ведь это ты написал стихи? Не скромничай!

— Тише! У стен есть уши.

Однажды, пересекая сад Пале-Рояля, Аруэ повстречал самого герцога Орлеанского. Тот совершал прогулку. Герцог узнал поэта, подозвал к себе.

— Я решил показать вам, господин Аруэ, вещь, которую вы никогда еще не видели.

— Что же это такое?

— Бастилия.

— О, монсеньор, давайте будем считать, что я уже ее видел.

На другой день герцог де ля Бриллер, «министр королевского дома» получил предписание за подписью самого правителя государства.

«Е. К. В. полагает, что г-н Аруэ-сын должен быть арестован и препровожден в Бастилию.

Филипп Орлеанский».

«Министр королевского дома» направил соответствующее предписание генералу-лейтенанту полиции Марку-Рене Даржансону.

Утром 16 мая 1717 г., в троицын день, когда все колокола Парижа шумно перезванивались и праздничная толпа заполняла бульвары, у дома Аруэ стоял крытый дилижанс. Два жандарма вошли в комнату поэта.

— Как, господа, вы и в праздник работаете? Право, мне вас жаль. Что касается Бастилии, то я в восторге, надеюсь, мне будет там назначена молочная диета. Но только предупреждаю вас, если курс лечения рассчитан на одну неделю, я буду просить продления, мне надо излечиться окончательно.

В тюрьме были отобраны все личные вещи. Из карманов извлечены деньги и бумаги. На улице Каландр был произведен самый тщательный обыск.

— Где вы еще хранили свои бумаги? — спросил комиссар.

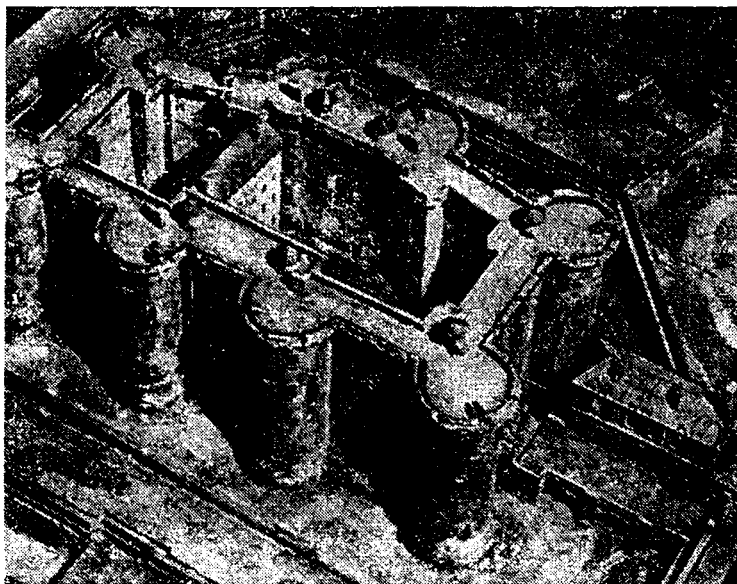
— Ах, господа, в самый последний момент я бросил письма от одной особы в... нужник. Вы понимаете мои чувства...

Полицейский комиссар пустился в розыски. Были вскрыты отхожие места. Весь квартал пропах. Жители плевались и проклинали полицию. Дворники разъясняли комиссару, что если и были какие-нибудь бумаги, то теперь они все равно уже (тут дворники употребляли слова, которые не вошли в академические словари).

Полицейский комиссар понял, что поэт сыграл с ним злую шутку.

На четвертый день молодого человека допрашивали. Аруэ стало ясно, какую роль в его аресте сыграл офицер Борегар, но смело отрицал все: никаких стихов он не писал, ничего не знает. Оружие лжи было всегда в арсенале средств самообороны Вольтера.

Итак, Аруэ стал узником Бастилии, мрачной, пугающей воображение тюрьмы, о которой с детства знал каж-



Бастилия.

дый француз. Она была построена еще в XIV столетии. По воле случая, человек, ее основавший, сам погиб в ней. Это был Гуг. Обрио. 22 апреля 1369 г. заложил он ее первый камень. Впоследствии, обвиненный в ереси, он был пожизненно заключен в Бастилию и окончил в ней свои дни.

На протяжении веков она считалась неприступной. Ее стены были высотой в 24 метра, толщиной в 3—5. Крепость была окружена рвом глубиной в 8 метров и шириной в 26.

Самые важные государственные преступники препровождались сюда. Солдаты по команде повертывались спиной к проводимому узнику, чтобы не видеть его лица. Здесь десятки лет сидели без суда и следствия. И никто не должен был знать, за что. Часто не знал этого и сам узник, и даже комендант. Это было погребение заживо. Лицо некоего узника было заковано в железную маску. Первый, поведавший миру об этой таинственной железной маске, был Вольтер. Тайну ее так и не раскрыли до сих пор. Писатель Александр Дюма-отец, любивший ро-

мантическую таинственность, написал роман о Железной маске, но никто не может подтвердить правильность догадок романиста.

Самые мрачные тюремные камеры были в пятиэтажных башнях. Здесь не было печей. Зимой и летом стужа сковывала человека. Из маленьких окон едва проглядывал свет. Существовали еще карцеры. Они были расположены внизу, в 6 метрах под землей.

Помещения между башнями были более терпимы для жилья. Иногда даже они были достаточно благоустроены, имели печи. В них содержались менее опасные высокопоставленные преступники.

Бастилия была не только главной государственной тюрьмой, но и своеобразным символом абсолютизма, его могущества, нерушимости его социальных и политических устоев. Французская буржуазная революция началась со штурма этой цитадели. 14 июня 1789 г., когда это произошло, теперь отмечается французами как национальный праздник.

В этой цитадели абсолютизма оказался молодой Аруэ и провел в ней 11 месяцев.

Вряд ли комендант Бастилии слишком строго относился к молодому узнику. Аруэ-сын был достаточно известен в свете, к нему благосклонно относились влиятельные лица, на него отнюдь не смотрели как на «ниспровергателя устоев». Для многих он был приятным, умным, забавным, совсем не опасным, а его сатирические экспромты — всего лишь следствием «живости характера». Однако никаких чернил, никакой бумаги узнику не дали. На это был категорический запрет. Из книг разрешили только поэмы Гомера. 11 апреля 1718 г. Бернавиль приказал страже освободить узника. Аруэ вышел на улицу, в весенний Париж.

В дни революции, через семьдесят три года после этой минуты, парижане, переноса останки своего национального героя в Пантеон, кричали и пели: «Он научил нас любить свободу».

А что же стало с Борегаром?

В 1722 г. в Версале на обеде у военного министра Ле Бланка Вольтер столкнулся с Борегаром.

— Как, здесь шпионы? Я знаю, что им платят, но не знал, что с ними обедают министры.

Борегар побледнел.

— Я его убью. Клянусь вам,— шепнул он министру.

— Это твое дело, но только без шума.

И ночью на Северном мосту неизвестные лица напали на поэта. Вольтеру удалось спастись. Жалоба была оставлена без последствий и только позднее, когда Ле Бланк в результате дворцовой интриги был смещен с поста министра и сослан, Борегар был арестован. Дальнейшие следы этого человека затеряны.

Выйдя на свободу, Вольтер в шуточной поэме «Бастилия» описал свои несчастья. Он рассказал о них весело, играючи, утешив себя мстительной иронией. «Сын мой,— говорит в поэме тюремщик,— двор ценит твои заслуги, всем правятся твои остроты, короткие стихи, любовные послания. Король даже жалуется тебе за них роскошные апартаменты в этом своем замке. Бравые люди, что сторожат у дверей,— это твоя свита».

«ЭДИП»

У Корнеля мы встречаем характерную для Франции XVII в. фразу: *Le peuple est trop heureux quand il meurt pour ses rois* (народ счастлив умереть за своих королей.— С. А.); у Вольтера же, наоборот, Эдип говорит: *«Mourir pour son roys c'est le devoir d'un roi»* («умереть за свою страну — это долг короля».— С. А.). Это целый переворот во взглядах на отношение монарха к своим подданным.

Г. В. Плеханов

В Париже 18 ноября 1718 г. впервые была поставлена трагедия Вольтера «Эдип». Это было событие, затмившее все остальные новости дня шумного, крикливого, веселого и всегда любопытствующего Парижа. О премьеры уже говорили давно. Парижане знали, что автор только что вернулся из тюрьмы, из самой Бастилии. Значит, пьеса не без политических намеков. Парижане знали, что пьеса содержит нападки на церковь, конечно, на фиванских жрецов. Но кому же не ясно, что в одежде древнегреческого жреца на театральных подмостках мог быть изображен и сам архиепископ парижский.

Пьеса превзошла все ожидания и потрясла зрителей не только живостью сценических картин, но и новизной идей. Вольтер сразу же поставил себя в глазах парижан на уровень Корнеля и Расина.

Пьеса была задумана еще в стенах коллежа. Ее вынашивал поэт долго и терпеливо.

Что привлекло Вольтера к древней легенде?

Миф об Эдипе дошел до нас в сценической обработке Софокла. Французы знали ее по трагедии Пьера Корнеля. Как мог осмелиться молодой поэт состязаться с такими авторитетами? Он осмелился. Его привлек к себе таящийся в сердцевине самого сюжета антицерковный, просветительский заряд.

Религиозное сознание древних греков было подчинено идее рока. Человек не в силах преодолеть велений судьбы. Убегая от нее, он только идет ей навстречу. И это неизбежно, неотвратимо. Такова судьба Эдипа.

Софокл, современник Перикла, живший в эпоху «величайшего внутреннего расцвета» (К. Маркс) Древней Греции, поэт-мыслитель, стоявший на высоте образованности века, придал идее рока, из которой исходила легенда, философско-просветительский смысл.

Трагедия Эдипа — трагедия **незнания**. Эдипу, по воле богов, предстоит убить отца и жениться на собственной матери. От ужаса он хотел бы оказаться где-нибудь на краю света, чтобы избежать этой участи. Он уходит за пределы своей страны, подальше от родителей, подальше от предсказанных роковых несчастий, но не ведая того, не зная, идет только навстречу своим бедам.

По дороге, в случайной драке он убивает оскорбившего его человека, убивает сгоряча, и этот убитый им незнакомец — его отец, и этого тоже не знает юноша. Далее Эдип спасает город Фивы, чужой, неведомый ему город от страшного чудовища — сфинкса. Благодарные жители избирают его своим царем и дают ему в супруги вдову недавно убитого царя. И никто не знает — ни Эдип, ни желающий ему добра народ, — что она, эта женщина, его мать.

Незнание, незнание — какой это страшный бич человечества! Такова философская символика всей этой трагической истории.

И здесь же славица человеку. В человеке смысл бытия мира:

Много сил чудесных в свете,
Но чудесней человека нет на свете ничего.

Еще в древности греки порицали Софокла за дерзкий вызов богам. «Я заставлю богов краснеть», — говорит несчастная, ввергнутая в страшное преступление могущественной волей богов Иокаста, мать и потом, по стечению злосчастных обстоятельств, супруга Эдипа.

Все это волновало молодого Аруэ — и скептическое отношение к богам и церкви, и проблема государства в его взаимоотношениях с народом, и зло незнания, невежества, за которыми следом идут фанатизм, изуверства, преступления. Внешне молодой поэт никак не походил на глубокомысленного автора. Он проказничал, веселился, с улыбкой говорил дерзости, не признавал никаких авторитетов. Все это объясняли милой юношеской беспечностью и даже его обращение к теме Эдипа, прославленной такими именами (Софокл, Корнель), тоже расценили как проявление мальчишеской самонадеянности. Поэтому многое ему сходило с рук. Вольтер, пожалуй, охотно поддерживал такое мнение о себе и поистине озорничал. Иногда во время представления он выходил на сцену в роли какого-нибудь статиста и выделывал всякие потешные штуки. Однажды, лукаво подмигивая публике, он прислуживал жрецу, когда тот по ходу пьесы произносил самые трогательные стихи.

Теперь из дали веков, оценивая малые и большие события в истории Франции XVIII столетия и роль, которую в ней сыграл Вольтер, мы не можем обманываться в оценке его личности, как обманывались подчас его современники. Нет, это был не беспечный молодой человек, озорной и простодушно непосредственный, одаренный приятными талантами, каким он казался тогда светской толпе. Это был ум трезвый (он оценил в Петре I трезвость мышления как вечное свойство любого таланта), ум беспокойный, ищущий все познать (это «беспокойство» ума он отметил и у Петра I тоже как признак таланта). Он оценил эти качества в людях и, конечно, стремился укреплять их в себе. Поражает его работоспособность. Ум его никогда не пребывал в праздности. Однако самое главное, самое важное и для него и для его века — это политическое и философское кредо, которое сложилось у него, пожалуй, еще в самые молодые годы. Французские критики полагают, что оно сформировалось после поездки в Анг-

лию. Его первое значительное произведение — «Эдип» говорит о том, что 24-летний Вольтер уже сложился как мыслитель или, вернее, критически мыслящая личность, отвергающая социальные и политические принципы века.

История сохранила много эпизодов жизни молодого Вольтера, но где найти картину формирования его ума? Какими путями мысль молодого человека дошла до тех истин, которые были провозглашены им уже в «Эдипе»?

В то время, когда еще свежа была в памяти французов гордая фраза Людовика XIV «Государство — это я», когда королевские эдикты заканчивались фразой: «Tel est mon plaisir» («Такова моя воля»), молодой Вольтер устами одного из персонажей своей пьесы заявлял: «Король для подданных — Бог, к которому они поклоняются, ...для меня же это обыкновенный человек».

Антимонархические идеи были особенно сильны в эпоху Ренессанса, и с ними конечно был знаком молодой Вольтер.

В XVI столетии друг Монтеня Этьен де ла Боэси в сочинении «Добровольное рабство» с гневом и запальчивостью писал о том, что на рабство себя обрекают сами люди, что для обретения свободы им не нужно прибегать ни к борьбе, ни к насилиям, а только перестать выполнять приказы монарха. Между тем они их выполняют и даже более того привносят в свое служение особое усердие, холопствуют, раболепствуют, пресмыкаются, унижаются до последней степени, растапывая свое человеческое достоинство иногда перед самым последним из смертных, самым жалким и ничтожным человечком, который именуется монархом.

В XVII столетии во Франции политическая мысль как бы отступила вспять. Пьер Корнель в трагедии «Эдип» утверждает как раз то, что осуждал Этьен де ла Боэси столет до него, а именно, что народ не только должен служить своему королю, но находить в этом своего рода радость, удовольствие («счастье народа — служить своему королю»).

XVIII столетие в лице Вольтера снова обратилось к политическим идеям Ренессанса, и молодой поэт объявляет в своей пьесе новый принцип, новую политическую мораль: король должен служить своему народу.

Здесь же, в той же пьесе, он провозглашает и ренессансный принцип научного мышления: «Доверимся только

себе, только своим глазам. Они наши боги, они наши оракулы». Речь идет о недоверии к сказкам попов («Их сила в нашей темноте»), но призыв Вольтера следует понимать и как полемику с умозрительным методом Декарта. Бэкон с его опорой на опыт — вот авторитет Вольтера.

XVIII век, век просвещения, начал свое победоносное шествие к революции. Но этого не знали, не могли знать ни зрители, ни сам автор пьесы. Он купался в славе. В фойе его окружала толпа восторженных поклонников. Ему говорили самые приятные вещи.

— Вот глаза, которые вы заставили плакать... — говорит кто-то, представляя зардевшуюся даму.

— О, они уже отомщены. Теперь они будут заставлять плакать меня.

Подошел поэт и эрудит «вечный Фонтенель», тогда еще совсем молодой, шестидесяти одного года, а проживет он сто.

— Я рад приветствовать вас, вы талантливы, но не созданы для театра, вы слишком горячи.

Вольтер дерзит: «О, я перечту ваши пасторали и немного остыну».

Нам в наши дни стихи Вольтера кажутся немножко холодными, чувства, выраженные ими, — чуть-чуть деланными, но мы не сможем отказать этим стихам в изяществе. Это стихи для ума. Здесь мысль и только мысль, выраженная не только просто, но и легко, ясно, точно. Однако, как бы ни хвалили автора «Эдипа», жить в Париже ему, вчерашнему узнику Бастилии, было запрещено. Аруэ-старший предложил сыну загородный домик в Шатене, вблизи Парижа. Поэт сохнет от скуки в деревне, просит разрешения посетить Париж, хотя бы на один день («Это капля воды для умирающего от жажды»). Ему позволяют с ведома полиции провести в столице два часа. Только в апреле 1719 г. через год после выхода из тюрьмы ему позволено, наконец, въезд в Париж.

* * *

Еще тоскуя среди прелестной загородной природы местечка Шатене, поэт послал регенту письмо, начинавшееся словами: «Бедный Вольтер просит вас...» Так впервые появился псевдоним, с которым Франсуа-Мари Аруэ вошел в историю.

Вольтер, смеясь, говорил, что его фамильное имя «Аруэ» слишком сходно по звучанию со словом «руа» (король), потому он решил его переменить. «Вольтер»! Откуда это странное имя? Ученые до сих пор ломают себе голову, чтобы разгадать источник и смысл самого слова.

Одни говорили, что так называлось маленькое поместье, принадлежавшее его матери, но где оно находилось и существовало ли оно на самом деле — никто не знает. Другие в слове «Вольтер» видели анаграмму собственного имени поэта. Третьи вели происхождение слова от итальянского «voltare» (менять), четвертые — от испанского «voltege» (скакать) и пр. Наконец, старики в конце XVIII в. говорили, что «Вольтером» называл Шатонеф своего маленького крестника (скороговорка от слова «волонтер»). До сих пор тайна не разгадана, а лукавый Вольтер на этот счет ни словом не обмолвился.

Бывали минуты, когда Вольтер ждал смерти. Нemoщам его тела не было конца. И первый вопрос, какой возникал в его голове в такие моменты: «А как же мои планы? Неужели я не выполню, что задумал?» Вольтер работал в карете и в роскошной спальне, какую ему предоставляли его высокопоставленные поклонники. Писал легко, свободно, почти без усилий. Читал, слушал, изучал. И, конечно, больше всех говорил. Он был говорун от природы. Это черта национального характера. Французы любят поговорить. Бумага для него — тот же собеседник, только более удобный, она слушает, не перебивая, не возражает и не задает нелепых вопросов.

1 января 1722 г. умер г-н Аруэ-старший в возрасте 72 лет. У гроба собралась вся семья. Последний долг умершему отдал и его младший сын, теперь уже известный под именем «Вольтер».

Старик так и не примирился с ним. Это отразилось и на его завещании. Он писал, что после долгого размышления решил передать часть наследства, предназначенную для его младшего сына, детям такового, если таковые будут, когда сын женится, а при отсутствии таковых — его старшему брату и сестре. Однако если к 35 годам его сын «станет вести правильную жизнь, а именно так, как ему было всегда внушаемо», то Аруэ-старший считает возможным передать наследство непосредственно в его руки.

Выражение «правильная жизнь» означало для старика отказ сына от ремесла поэта и приобщение его к сословию

Вольтер в молодости.
Портрет Латура.



чиновников. Завещание отца не подействовало. Сын не подчинился. Он продолжал следовать своим путем. Внешне это была жизнь полная празднеств и светских увеселений. Но только внешне.

Вольтер жил интенсивной жизнью ума, как пчела, собирая мед мысли повсюду. Практическая сметка и природное лукавство учили его не пренебрегать светскими связями. Он очень ловко использовал их впоследствии. Некоторые усматривали в этом порок его натуры. Пожалуй, это была тактика борьбы.

Пушкин назвал Вольтера «пронырливым и смелым». Это и лестный, и обидный отзыв. Смелость всегда в почете, а вот пронырливость кажется нам свойством мало почтенным. Но в борьбе с сословно-монархическим строем французские просветители чаще всего использовали спасительное лукавство: не идти же, очертя голову, под топор палача. Вольтер учил своих собратьев «бросать стрелы, не показывая руки», а Бомарше рекомендовал «давать пощечины королю, стоя на коленях»... Такова тактика борьбы.

«ПОСЛАНИЕ К УРАНИИ»

Урания (греч.) — муза астрономии. Изображалась молодой девушкой с небесным глобусом в руках.

Мифологический словарь

Одна светская дама, г-жа де Рюпельмонд предложила Вольтеру сопровождать ее в Голландию. Она была старше его на несколько лет, давно уже вдова, мало заботилась о том, что скажут о ней люди, и больше всего ценила в жизни непосредственную радость, веселую шутку и умную речь. Общество молодого человека могло скрасить ей дорожную скуку. Вольтер согласился. Они путешествовали, несколько не стесняя себя сроками. Выехав из Парижа в июне, они в июле доехали до Камбре, где пробыли до начала сентября. Далее Брюссель, Гаага, Амстердам и только к концу октября вернулись в Париж.

Голландия, эта небольшая страна, живущая под постоянной угрозой затопления, отвоевывающая землю у моря метр за метром, и ныне предстает взору иностранцев как цветущий край, преображенный трудом ее народа. Вольтера, прибывшего из страны, где огромные площади земли были неводеланы, а толпы крестьян, бросивших свои дома и ставших нищими, бродили по дорогам, прося подаяние,— она восхитила беспредельно. Он писал в дороге: «Когда показывается солнце, видишь перед собой сплошные луга, каналы, зелень деревьев. Зеленый рай от Гааги до Амстердама. Я с почтением взирал на этот город, перевалочный пункт всей Вселенной. Более тысячи кораблей в порту. Среди пятисот тысяч жителей Амстердама ни одного лентяя, бедняка, праздного щеголя или наглеца. Я здесь и работаю и наслаждаюсь, то есть живу и на голландский и на французский манер».

Этот восторг Вольтера имел политическую окраску: буржуазная Голландия являла разительный контраст с отжившими экономическими и социальными порядками французского сословно-монархического государства.

Однажды спутница Вольтера призналась ему, что ее мучают некоторые религиозные вопросы. Нет, нет, она не безбожница. Боже упаси! Но ей иногда кажется, что не все ясно в церковных книгах.

Пройдет тридцать лет, прежде чем г-жа де Рюпельмонд окончательно решит для себя религиозный вопрос. За несколько месяцев до смерти она уйдет в монастырь. Но тогда ее мучили сомнения. Вольтер прочитал ей свою философскую поэму «Послание к Урании».

Астрономия в те дни наука опасная. Она занималась небом, а небо — жилище бога, и христианская церковь неусыпно следила за тем, чтобы туда не проникал кощунственный взор скептика, и строго карала смельчаков.

«Ты хочешь, прекрасная Урания, чтобы я, подобно Лукрецию, дерзко сорвал пелену с суеверий, чтобы раскрыл перед тобой опасную картину священной лжи, — а ею полна земля, — чтобы избавил тебя от ужаса загробной жизни. Хорошо же! Дай руку, пойдем!

Нам говорят о боге, но где он? — Я хотел бы обожать его, обожать, как отца, но его нужно ненавидеть. Тот, кого называют богом, — тиран.

Он создал людей, похожими на себя, чтобы еще больше их унижить. Он дал им порочные сердца, чтобы их наказывать. Он заставил их полюбить радость, чтобы сильнее мучить страданиями.

О нет, в этом недостойном существе я не хочу видеть бога! Я скорее готов позорить и оскорблять его...»

— Значит вы не христианин? — спросила г-жа де Рюпельмонд. — Тогда какого же бога признаете вы? Где бог и какой он?

Вольтер прочитал заключительные строки поэмы.

«Это ты, колеблющаяся Урания, должна найти истину, тебя природа одарила умом, равным твоей красоте, так пусть же Всевышний в своей превечной мудрости вложит в твое сердце религию Природы».

— Значит, бога нет, а есть только Природа? — спросила, робея, г-жа де Рюпельмонд. Вольтер кивнул головой.

— Спрячьте, спрячьте подальше вашу поэму. Вас сожгут.

Поэма была опубликована спустя десять лет, в 1732 г.

Канцлер Дагесо спросил у своего секретаря, что делать с автором.

«О, — ответил ему Ланглуа, — Вольтера нужно запирать в такое место, где бы не было никогда ни пера, ни чернил, ни бумаги. Этот человек способен разрушить государство», Вольтер поспешил откреститься от

своего сочинения. Автор не он, автор — аббат Шольё. Последний не мог ни опровергнуть, ни подтвердить версию. Он был в могиле. Кары земные ему были уже не страшны.

В ИЗГНАНИИ

Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должности — от всего этого не мудрено возгордиться! А много ли вы приложили усилий для того, чтобы достигнуть подобного благополучия? Вы дали себе труд родиться, только и всего.

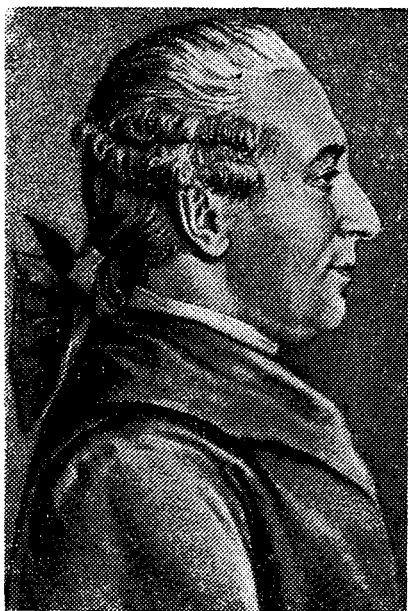
Б о м а р ш е. «Женитьба Фигаро»

Надо полагать, что в разговорах своих Вольтер был еще более резок и неосторожен. В архивах Бастилии сохранилось анонимное письмо, видимо, духовного лица, доносившего на него: внушает «молодым сеньорам, что Ветхий завет — собрание сказок и небылиц, апостолы — идиоты и простаки, отцы церкви, особенно святой Бернард, — шарлатаны и обманщики». Письмо заканчивалось рекомендацией: «Заточить поэта в четырех стенах до самой смерти». Письмо проникнуто заботой о сеньорах.

Вольтера всегда окружают аристократы, они умеют тонко льстить, эти испытанные царедворцы, они умеют ценить таланты, ведь таланты украшают их жизнь. Талант архитектора, живописца, скульптора услаждает их взор. Талант музыканта и поэта — их слух и воображение. Талант философа занимает их праздный ум. Как же можно не ценить таланты? Только таланты умеют сделать жизнь прекрасной, только они изобретают самые тонкие, самые изысканные наслаждения. Но в аристократическом салоне не прощают самой невинной шутки, если дело идет о привилегиях касты; горе талантливому человеку, если за столом у знатного вельможи он забыл хоть на минуту о своем «низком» происхождении, о том, что его род не идет от какого-нибудь рыцаря-крестоносца, что здесь, в кругу этих любезных, иногда даже слишком пересажаренных вельмож, он — человек иной среды, что он чужой, инбродец, что только ради утехы этих людей он здесь, среди них.

У Вольтера произошла какая-то стычка с неким де Роганом, личностью ничтожной, пожелавшей противопоста-

Пьер Карон де Бомарше.
*Гравюра Сент-Обена
с портрета Кошена.*



вить таланту свое аристократическое происхождение. Точных подробностей ссоры нет. Говорят, что на обидное обращение «Вольтер!» поэт ответил вежливо: «Вы могли бы сказать «господин Вольтер», на что последовало высокомерное: «Я — де Роган», то есть что он, де Роган, может не церемониться с простолюдинами. На это в свою очередь Вольтер ответил: «Вы, судя по всему, заключаете свой славный род, а я начинаю». Прозрачный намек на неказистую внешность де Рогана с отпечатком физического вырождения и умственной неполноценности. Вольтер умел больно бить по самолюбию. Словом, типичный для той поры конфликт.

Как известно, в такую же ситуацию попал однажды Бетховен. Оскорбленный князем Лихновским, он почью, в непогоду бежал из его дома и потом гордо писал ему:

«Князей много, а Бетховен один». В романе Гёте «Страдания молодого Вертера» описывается подобная же сцена в доме графа Б., когда талантивому простолюдину Вертеру было указано на дверь спесивой провинциальной знатью.

Конфликт с де Роганом имел последствия. Как-то, обедая у герцога Сюлли, Вольтер был вызван из-за стола.

— Вас срочно просят выйти, что-то хотят сообщить важное, — сказал лакей.

Вольтер вышел. У дома стоял фиакр. Едва поэт ступил на мостовую, как два дюжих парня скрутили ему руки и

град палочных ударов посыпался на его плечи. Из-за укрытия командовал де Рогап.

Без парика, в изодранном платье, в самом жалком виде предстал Вольтер перед герцогом Сюлли и его гостями.

— Герцог, ведь я ваш гость, ведь меня оскорбили в вашем доме... Вольтер забыл, что его обидчик был дворянин, как и его любезный хозяин Сюлли. Люди одной касты.

Вольтер еще верит в правду, в справедливость, в законность. Он хочет жаловаться. Но ни полиция, ни ответственные лица в государстве, которые знали его, иногда аплодировали его стихам, никто ничего не хотел сделать, чтобы хоть как-то успокоить его оскорбленное чувство человеческого достоинства. Шевалье де Рогап не услышал ни слова осуждения. Он бывал в Опере, на приемах у короля, улыбался знакомым, чувствовал себя героем, как будто одержал победу в великом сражении.

Правда, до него стали доходить слухи, что Вольтер нанял учителя фехтования. Это его беспокоило. На помощь пришла многочисленная родня. Обратились к герцогу Бурбону, первому министру короля. Ночью 17 апреля 1726 г. Вольтер был арестован и препровожден в Бастилию.

На этот раз общественное мнение не очень мирно отнеслось к аресту всем известного поэта, как это было девять лет назад. В городе говорили о недопустимом произволе властей. Двор почел за лучшее поскорее замять дело. В начале мая поэт был выпущен на свободу, но с обязательством покинуть страну. Вольтер избрал местом изгнания Англию. Один из тюремщиков, сопровождал его до порта Кале и, только убедившись, что судно, на борту которого был Вольтер, отчалило от берега и взяло курс на Англию, вернулся в Париж.

* * *

Британские острова отделены от Европейского континента проливом Ла-Манш. Всего 32 километра в самом узком месте (между Кале и Дувром). Совсем недалеко. Но в те времена, — а это был август 1726 г., — когда Вольтер прибыл к берегам Англии, перед ним открылся совсем иной мир. Здесь в 1688 г. после долгой и упорной борьбы буржуазия одержала окончательную победу над

феодалным дворянством. Она пригласила из Голландии принца Вильгельма Оранского и сделала его своим королем, заставив подписать так называемый «Билль о правах», по которому королевской власти отводилась самая минимальная роль (служить неким украшением государства). Для тех времен это было величайшим завоеванием прогресса, поскольку на смену деспотической власти одной личности (короля) пришла, правда еще очень несовершенная и ограниченная, форма народоправства, буржуазная демократия. В те дни, когда Вольтер оказался под лондонским небом, английская буржуазия, еще полная ненависти к Стюартам и феодальному дворянству, относилась терпимо к философам и политическим мыслителям, допуская самые смелые идеи и теории, покровительствовала ученым и наукам, в которых нуждалась. Юридически здесь все были равны перед законом, и граф, и портовый рабочий (на практике, конечно, это не всегда соблюдалось), но Вольтер ясно видел, что здесь никакой де Роган не мог бы так безнаказанно обойтись с ним, что никого нельзя было засадить в тюрьму без следствия и суда, словом, личность была ограждена от произвола. Здесь «можно мыслить свободно и с достоинством, не унижая себя рабским страхом», — сказал себе изгнанник.

Он бродил по улицам Лондона и чувствовал себя почти счастливым, пропикаясь восторженной нежностью к людям, которые нашли в себе достаточно ума и смелости, чтобы правильно устроить свою общественную жизнь.

Правда, беседа с одним из гребцов на Темзе несколько озадачила его. Гребец был худ, глядел сурово и никак не хотел признавать, что его Англия — обетованный край.

— Я завидую вам, вы живете в стране свободы, — говорил Вольтер, глядя на мутные воды Темзы.

— Свобода! Меня насильно зачислили во флот норвежского короля. Там тебе, говорят, будет хорошо. А пока, чтобы ты не убежал, посиди в тюрьме. А что до жены и детей моих, так правительству нет дела. «Свобода!». Раздумывая над словами гребца, Вольтер горестно вздыхал: видимо, на земле совсем нет свободы.

В Англии Вольтер первым делом занялся изучением языка. Через 18 месяцев он уже сносно писал по-английски, а в театре, взяв у суфлера копию текста пьесы, усваивал разговорную речь. В конце концов он овладел языком настолько, что мог и писать и бегло говорить по-

английски и не забыл его до конца дней своих. Он погрузился в изучение современной английской мысли. Писателей и поэтов, философов и политических мыслителей, ученых Англии,— их хотел знать Вольтер и по их произведениям и по личному знакомству с ними.

Он прочитал сочинения Александра Попа. Поэт был в зените славы, хотя знаменитый его «Опыт о человеке» еще не был тогда написан. Литературные идеи англичанина не противоречили взглядам французского изгнанника, но последний не нашел в них национального своеобразия: Поп питался французским классицизмом.

Дружбы у Вольтера с Попом не получилось. Однажды, когда Вольтер, как обычно, изощрялся в насмешках над католической церковью, Поп демонстративно покинул гостиную.

Он был религиозен, хоть и грешил иногда свободомыслием.

Вольтер разыскал поэта Конгрива, но был также разочарован¹.

— Я не поэт, я дворянин,— заносчиво заявил тот.

— Если бы вы были только дворянином, я не стал бы искать встречи с вами.

Сословное фанфаронство здесь, в стране «равенства» и «свобод», неприятно поразило французского изгнанника. Но как несказанно счастлив был Вольтер, когда его познакомили с Джонатаном Свифтом. Он был покорен этим могучим, насмешливым и мрачным умом. Он провел в его обществе около трех месяцев в имении лорда Питербороу. Свифт был старше французского поэта почти на тридцать лет, но что-то родственное было у двух этих разных по возрасту людей. Они оба умели видеть смешное, возводили смешное в гротеск, убивали смехом своих идейных противников. Оба были по духу, по складу ума, характера бунтарями и борцами.

Только что появился тогда в печати роман Свифта «Путешествия Гулливера». Вольтер читал его с наслаждением: «Это английский Рабле!»

В Лондоне много говорили о Шекспире. Англичане после долгого забвения вспомнили о своем национальном гении. Александр Поп переиздал все сочинения вели-

¹ Конгрив был известен своими комедиями («Старый холостяк», «Интриган» и др.), блиставшими остроумием.

кого драматурга. В театре шли его пьесы. А во Франции тогда едва ли кто слышал имя Шекспира.

Вольтер, полный гордости за Корнея и Расина, которых считал непревзойденными, пошел, однако, смотреть Шекспира ради любопытства и ради снисходительного доброжелательства к англичанам.

— Они так расхваливают своего поэта, право, так кичатся им.

Давали «Ромео и Джульетту». На сцене творилось невообразимое. Бегали и суетились люди. Кричали. Во всеуслышание произносили такое, что смущенному французу приходилось отвертываться от леди, сидящей рядом. На сцене дрались. Сверкали шпаги. Словечки, самые отборные, повисали в воздухе...

— Как, крысолов Тибальд, ты прочь уходишь?

— Что, собственно, ты хочешь от меня?

— Одну из твоих девяти жизней, кошачий царь, в ожидании восьми остальных, которые я выколочу следом. Тащи за уши свою шпагу, пока я не схватил тебя за твои собственные.

На французской сцене подобное не допускалось. Там герои ступали парадным шагом. Движения и жесты были царственно величавы, речь замедленна и напевна, почти как в опере. Если случались поединки (они происходили всегда за сценой), то дуэлянты, прежде чем убить друг друга, обязаны были обменяться галантными комплиментами. И ни одного грубого слова. Боже упаси! Тогда бы взбунтовались все зрители.

Здесь в Англии все по-иному. Для француза, да еще такого жадного до впечатлений, каким был Вольтер, это было царство чудес. Они дикари, думалось ему. В то же время он ясно понимал, что что-то могучее исходило от сцены, живое и естественное, чего не было в театре французском. Сильно и натурально брала за живое правда реальности.

Он ходил снова и снова в театр Шекспира. Перед его глазами прошли «Юлий Цезарь», «Отелло», «Гамлет», «Мне вспоминается,— писал он впоследствии,— одна сцена из некогда видеппной мной в Лондоне пьесы, почти совсем неправильной по своему построению, почти во всех отношениях дикой. Сцена происходила между Брутом и Касием. Они ссорились и, я готов это признать, довольно непристойно: они говорили друг другу такие вещи, кото-

рых у нас порядочным и хорошо воспитанным людям выслушивать не приходится. Но все это так полно естественности, правды и силы, что очень меня растрогало. Никогда не троют нас так те холодные политические диспуты, которыми наш театр некогда приводил зрителей в восторг».

Англичане, дабы показать гостю, что они не дикари, что им тоже не чужд прославленный французский классицизм и утонченность галантных нравов, повели Вольтера в театр Аддисона — «друга благопристойности и правил». Писателя уже не было тогда в живых.

Джентльмены и леди, заполнявшие ложи и кресла, аплодировали речам Катона, но потихоньку зевали. Они гордились своим Аддисоном, своим английским Корнелем, но предпочитали ему Шекспира.

На вопросы, доволен ли он «Катон» Аддисона, Вольтер любезно отвечал:

— О, стихи прекрасны, суждения благородны и справедливы.

И только Фолкнеру, с которым был откровеннее, признался: «Пьеса холодна».

В Англии Вольтер серьезно и глубоко изучил сочинения Френсиса Бэкона. Со дня смерти великого философа прошло уже сто лет, но идеи, рожденные в его могучей голове, жили.

Объект познания — природа. Цель познания — власть над природой. Метод познания — наблюдение и опыт. Вот программа Бэкона. И ее усвоил Вольтер как «Отче наш». До конца дней своих он был приверженцем этой программы.

Сочинения второго философа, мистера Локка, заставили Вольтера задуматься над самим процессом человеческого мышления (книга Джона Локка «Опыт о человеческом разуме») ¹.

В марте 1727 г. скончался Ньютон. Вольтер был неутешен. Ему так и не удалось повидать ученого, обменяться с ним хоть парой фраз. Этого надо было ждать, Ньютону минуло 84 года, но Вольтер хотел прийти к старику с ясным пониманием его великих открытий. Он штудировал его сочинения и медлил с визитом.

Нет пророка в своем отечестве. Англичане только тог-

¹ К Бэкону и Локку мы еще вернемся.

да узнали, что среди них живет человек необыкновенный, поистине живое воплощение и высшее выражение человеческого гения, когда в самом конце XVII в. Парижская академия наук избрала Ньютона вместе с Лейбницем одним из своих членов.

Ньютон был гением и заслуги его перед человечеством неизмеримы. Сам же ученый не хотел видеть в себе никаких особых достоинств, он не печатал своих сочинений (часть их даже сгорела во время пожара в его университетской келье), и когда ему говорили, что он гений, он отвечал:

«Я не знаю, кем я кажусь миру, но я всего лишь ребенок, который ходит по берегу моря, собирает камешки и красивые ракушки, а между тем перед ним простирается целый океан непознанных истин».

Вольтер был большой скептик и насмешник, но когда что-нибудь его приводило в восхищение, то восклицаниям не было предела.

«Наперсники Всевышнего, вечные звезды, вы, полыхающие огнем там, у трона вашего владыки, скажите, вы не завидуете великому Ньютону?»

Хоронили Ньютона пышно, в Вестминстерском аббатстве. Министры следовали за гробом, великий канцлер, два герцога и три графа держали шнуры балдахина. Это уже совсем по-королевски! Вольтер был поражен. На его родине так не чтили ученых. И снова взволнованно он хвалит Англию, страну, где умеют ценить таланты.

Позднее, когда он узнал кое-какие подробности, касающиеся щедрот, которыми был осыпан Ньютон, восхищение его Англией несколько поубавилось.

«В молодости я поверил тому, что Ньютон достиг почестей и богатства благодаря своим исключительным заслугам. Я воображал, что двор и Лондон назвали его директором королевского Монетного двора из чувства благодарности. Совсем не так. Исаак Ньютон имел племянницу, достаточно привлекательную. Она понравилась государственному казначею Галифаксу. Бесконечно малые и законы всемирного тяготения ничем не помогли бы ученому без его очаровательной племянницы...»

Славу Ньютону принес Вольтер, как и философу Локку.

«Ньютон, великий Ньютон был погребен в глубине книжной лавки издателя, который осмелился его напеча-

тать. Ньютон измерял, высчитывал, но Ньютон не говорил... Наконец, появился г-н Вольтер, и тотчас же стало слышно Ньютона; весь Париж гремит именем Ньютона», — так писал один из современников Вольтера.

* * *

Вольтер не только изучает Англию, ее государственную систему, жизнь народа, его культуру, но и последовательно, изо дня в день множит свое литературное имущество, которое к концу его жизни разрастается до таких размеров, что, озирая многотомное собрание своих сочинений, он начинает уже беспокоиться: «С таким грузом не дойдешь до потомства».

В Англии окончательный свой вид принимает поэма «Лига». Она называется теперь «Генриадой». Вольтер организует подписку. За помощью он обращается к самому авторитетному человеку нации Джонатану Свифту, просит его «реализовать свое влияние в Ирландии и снискать ему нескольких подписчиков на «Генриаду»... Подписная цена — всего одна гинея, внесенная авансом».

Книга была роскошно издана, большим форматом (в четвертую часть листа) и ограниченным тиражом. Издание разошлось и принесло автору значительную сумму денег. Вольтер начинает приобретать вкус к накопительству и финансовым операциям. Он уже не на шутку задумывает стать капиталистом. Пример английских буржуа зарезителен.

Некоторые полагают, что сумма, собранная по подписке на «Генриаду», легла основанием для огромного богатства Вольтера, каким он будет обладать впоследствии.

Успех подписки говорит, однако, о другом, более важном факте — Вольтер обладает уже широкой известностью. Его знают за пределами Франции.

Немало этому способствовали английские друзья Вольтера — политический деятель и публицист Боллингброк, писатель Джонатан Свифт. С французами-эмигрантами Вольтер не сблизился в Лондоне. Он не посещает таверну «Радуга», где собираются они, он даже ссорится с аббатом Прево, автором 200 томов сочинений, из которых останется векам только немногословная, пленительная «История шевалье де Грие и Манон Леско».

Вольтер посылает Джонатану Свифту в Ирландию свой «Опыт о религиозных войнах», написанный на английском языке.

Связи с Францией слабые. Он почти ничего не знает о том, что делается на его родине. Дошла лишь весть о кончине его сестры, госпожи Миньо, но нет никаких подробностей.

Он начинает тосковать по родине. Здесь в Англии он возмужал. Раньше он был бунтарем, теперь стал революционером. Он понял нужды своей эпохи, увидел поступь века. Ему 35 лет. Греки называли это серединой человеческой жизни, порой расцвета, акме.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ССЫЛКИ

Нужно любить свою родину, какие бы несправедливости она ни причиняла тебе.

Вольтер Жан-Жаку Руссо,
30 августа 1755 г.

В начале 1729 г. Вольтер вернулся во Францию. Под чужим именем снял каморку у одного парикмахера в предместье Сен-Жермен и пока не показывался на улице. Обратился к министру Морепа с просьбой позволить ему «носить свои цепи в Париже». Разрешение было вскоре получено, Он снял квартиру на улице Траверсьер-Сен-Оноре и погрузился в работу.

Не только литературный труд занимал Вольтера. Мы должны коснуться одной, очень сложной стороны его жизни, — секрета его богатства, его материального благосостояния.

Его неблагожелатели, а их накопилось немало, говорили, что он скуп. Пожалуй, они не очень грешили против истины. Нотариус Аруэ вложил в душу своего сына известное пристрастие к презренному металлу. Но недоброжелатели Вольтера преувеличивали. Он был расчетлив, осмотрителен, но никогда не позволял себе поступаться принципами ради злата.

У его приятеля Тирио однажды похитили крупную сумму денег, принадлежавших Вольтеру. Злые языки заподозрили Тирио во лжи. Может быть, яд сомнения проник и в душу Вольтера, но он заявил, что лучше потерять

деньги, чем друга. Когда потом Тирио хотел возвратить ему деньги, Вольтер их не принял. Еще в юные годы Вольтер получил от короля пенсию и тогда пожелал разделить ее с Тирио. Он не брал гонорара от издателей своих сочинений («Пусть это будет поощрением для них!» — говорил он). Вольтер не брал денег с театров, которые ставили его пьесы.

Правда, гонорары в те времена были ничтожны. Как-то реальные средства к существованию давали королевские пенсии людям искусства, но они были очень непостоянны. Во время отсутствия Вольтера эдиктом короля от 3 декабря 1726 г. у него были аннулированы все пожалованные ему ранее пенсии.

С братом не урегулированы были еще дела отцовского наследства. Вольтер добивался получения своей части, Арман настаивал на выполнении воли отца. Вольтер клял «педаантизм и гнусный эгоизм» брата и вел тяжбу. Наконец, решением суда от 1 марта 1730 г. он вступил во владение наследством, то есть обрел право на получение значительной суммы денег в 240 тысяч ливров. Чтобы не трогать капитал, брат обязался ежегодно выплачивать ему ренту в 4250 ливров. На том порешили, и между братьями установился мир — мир без согласия. Они друзьями не стали.

Но Вольтер в Англии увидел силу денег и решил стать капиталистом. Его портфель наполнился деловыми бумагами. Здесь были договоры и счета, векселя и финансовые обязательства всех видов. Вольтер очень чутко улавливал изменение финансовой конъюнктуры. В предвидении выгодной ситуации, в самом точном и скрупулезном анализе всех возможных финансовых ходов он был подобен опытному шахматисту. Ничто не ускользало от его внимания, и малейшее преимущество он тотчас же обращал в блистательную победу. Финансовые тузы Франции немедленно это почувствовали. Одни, одураченные им, возненавидели его, как опасного конкурента, другие, привлеченные им к делу, возымели к нему нечто вроде уважения, как к человеку с финансовой смекалкой.

Братья Пари — крупнейшие финансовые магнаты Европы — уверовали в деловые качества поэта и очень охотно стали привлекать его к некоторым выгодным операциям. Зачем дужко было богатство человеку, который посвящал себя борьбе за справедливость?

Сам Вольтер отвечал на это так: «Я столько перевидал нищих и презираемых литераторов, что не хотел умножать их числа». Это была, пожалуй, главная причина его меркантилизма. Он хотел стать независимым. Деньги давали эту независимость, по крайней мере относительную. В силе денег Вольтер убедился, живя в Англии. Для борьбы нужны были свободные руки, их не должны связывать цепи нужды. Так рассуждал Вольтер. Это объяснение допустимо, во всяком случае оно несколько смягчает наше недоумение (самое деликатное слово, которое здесь применимо). Но будем глядеть в глаза правде. Не только это влекло Вольтера к спекуляциям, к дружбе с финансистами. Он был по духу своему буржуа. В этом он недалеко уходил от своего отца. Его страсть к деньгам, к приобретениям, к роскоши наложила свою печать на все его политические убеждения. Он и мысли не допускал о ликвидации частной собственности, об имущественном равенстве людей. Собственность для него священна. И эта личная черта характера сочеталась с той политической программой, с какой выступил Вольтер в лагере просветителей.

О Вольтере-капиталисте не знали. Это была, так сказать, «домашняя» сторона его жизни. В 30-х гг. XIX столетия Пушкин писал: «Несмотря на множество материалов, собранных для истории Вольтера (их целая библиотека), как человек деловой, капиталист и владелец, он еще весьма мало известен».

Вскоре, после возвращения из Англии, Вольтер столкнулся с теми сторонами социальной действительности условно-монархической Франции, о которых уже и забыл, живя в Англии. Речь идет о смерти и погребении великой трагической актрисы Франции Адриенны Лекуврёр. Она была давней приятельницей поэта. Он часто бывал у нее на улице Марсе. Ее слава, ее триумф на сцене были ослепительны и неожиданны. Она дебютировала в 1717 г. Ей было тогда 25 лет. Ее объявили звездой первой величины.

Теперь ей 38. Ей не находят равных. Только сто лет спустя Рашель сможет заменить ее. Артистка таяла на глазах. Ее голос, и без того недостаточно сильный — тоскующий, с пленительным тембром и необыкновенным богатством оттенков, голос великой трагической актрисы, — становился все более тихим, и, чтобы услышать ее, зрителям «Комеди Франсез» приходилось затаивать дыхание.



Актриса Адриенна
Лекуврёр в роли
Корнелии
(«Смерть Помпея»
Корнеля).
Рисунок
Ш. А. Куапеля.

Утром 20 мая 1730 г. Вольтеру сообщили, что г-же Адриенне Лекуврёр очень плохо. Он тотчас же отправился к ней. На его руках она и умерла. Встал вопрос о погребении.

Аббат Ланге, кюре церкви Сен-Сюльпис, запретил хоронить артистку по христианскому обычаю. Архиепископ парижский санкционировал этот запрет. Полицейские власти распорядились, чтобы захоронение было произведено ночью.

Гроб был установлен на дрогах. Было разрешено нанять только двух грузчиков. И — никаких провожатых! Тело артистки было опущено в яму, вырытую где-то около свалки на окраине города (ныне — это южный конец улицы де Бургонь в Париже). Уличные оборванцы ради нескольких су помогли набросать на гроб землю.

Так была погребена одна из замечательных женщин Франции.

Пожалуй, ничто еще — ни двукратное пребывание в Бастилии, ни ссылки, ни нападение де Рогана — не производило на Вольтера такого ужаса, как это кощунствен-

пое падругательство над останками актрисы. Он мысленно представлял себе свою собственную кончину (он часто болел и постоянно ждал смерти).

Удивительнее и ужаснее всего было то, что все приняло глумление над памятью Адриенны Лекуврёр за должное. Не раздалось ни одного слова протеста. Самые горячие поклонники, самые пылкие панегиристы молчали. Замолк подавленный ужасом и Вольтер.

С ним это случалось редко. Но через год, как после оцепенения, он заговорил. Он написал поэму, озаглавив ее: «Смерть мадемуазель Лекуврёр». Это были не идиллические lamentации, не сентиментальная грусть об усопшей, а самое страстное политическое выступление, на которое только был способен этот не знающий покоя темперамент.

«Неужели всегда я буду видеть мой народ беспомощным и жалким, не способным защищать то, что любит, отдающим на поругание то, что обожает, видеть французов в вечном плену суеверий!»

Церковники подняли вой. Для них поэма Вольтера была равносильна объявлению войны. Вольтер уже был достаточно опытен и потому немедленно удалился из Парижа. Он скрылся в маленькой деревушке в Нормандии недалеко от Руана. Знакомым, что подальше, было сказано об его отъезде в Англию.

«БРУТ»

С первых же стихов первой сцены разразились аплодисменты. Публика подхватила республиканские фразы и отвечала на них своими возгласами... Торжество свободы было полное.

«Газетт Насиональ» от 20 ноября 1790 г. о постановке «Брута» в Театре Нации

Так писали парижские газеты в дни революции об успехе трагедии «Брут». Вольтера уже не было в живых. Театральная публика жила республиканскими идеями пьесы, она была переполнена гражданскими чувствами. То, что происходило на сцене, а сцена изображала далекую эпоху древнеримской истории, и в сердцах зрителей, видевших в античных образах живые лики своих

современников, находилось в нерасторжимом единстве. Пьеса Вольтера дождалась своего времени и своего зрителя. В дни революции голос римского республиканца Брута звучал в Париже, как колокол набатный.

Пьеса вызывала бурю восторга, воспламеняла сердца революционным энтузиазмом, звала на бой. Она подобно Марсельезе, завладела умами французов. Изгнанного Тарквиния стали отождествлять с Людовиком XVI Бурбоном-Капетом, а гражданскую неподкупность Юния Брута сравнивать с неподкупностью Робеспьера.

Через шестьдесят лет... Но тогда, в 1730 г., когда пьеса только что вышла из-под пера автора, кто же об этом помышлял? Даже сам автор вряд ли считал это возможным.

— Черт возьми, сударь, не забывайте же, что вы Брут, самый мужественный из римских консулов.

Вольтер бегал по сцене, увлеченно рассказывал актерам о древне Риме — республиканском, доимператорском Риме, о прославленной римской гражданской доблести. Тогда умирали за родину, свободу. Тогда отцы казнили изменников-сыновей, как это сделал Юниус Брут (герой трагедии Вольтера «Брут») со своим сыном Титом.

Актерам было трудно войти в роль. Они привыкли к изнеженным героям Расина. Вольтер же возрождал мужественную героиню Корнелия, выводил на сцену сильных духом — воинов, мужей. Корнелию нужны были герои для утверждения абсолютистского государства, Вольтеру — для разрушения его. Драматургов разделял век. За сто лет многое переменялось в жизни общества.

В 1730 г. «Брут» был поставлен на сцене. Политическая страстность пьесы на минуту захватила зрителей, но не увлекла, не полонила их воображение. Требовались иные обстоятельства, чтобы оценить пьесу.

В душах же зрителей, заполнявших театральные залы Парижа 20—30 гг. XVIII столетия, безраздельно царил Расин, с его меланхолической элегией любви, которую он искусно вплетал в трагедийный сюжет своих пьес.

Вольтер посвятил трагедию лорду Боллингброку. Еще в Лондоне он работал над ней, причем первый акт написал прозой и по-английски. Тогда англичанин горячо поддерживал идею трагедии.

Теперь Вольтер писал ему, что благодарен Англии за науку. Что язык его приобрел ту силу и энергию, которая идет от благородной свободы мысли. У мужественных лю-

дей — мужественная речь. Однако принять английский театр и отказаться от традиций французской сцены он не мог. Англичане суровы, грубы. Им по душе кровавые сцены. Французы галантны, изысканны, они не терпят непристойностей и резких выражений. В их искусстве есть что-то женственное, не потому ли они так обожают женщину, а в Англии женщина в небрежении. Без женщины нравы грубеют.

Так оправдал Вольтер тему любви в своей гражданской трагедии.

Но то, что было слишком для англичан, казалось недостаточным для французов. И когда улеглись первые восторги, стали поговаривать о том, что пьеса холодна, что любовная интрига слабо выявлена, что старик Брут резонерствует о вещах непонятных, что автор слишком мудрствует и зачем бы теме любви не дать больше простора. Это было бы куда интереснее, чем разговоры о республике и пр.

«Увы, слово «родина» еще не привилось у нас, мы отдаем первенство Эросу, любви», — жаловался Вольтер.

А в пьесе Вольтера слово «родина» звучало сильно и революционно. Юлий Брут, старый, испытанный республиканец, возглавил страну, только что изгнавшую царя-тирана Тарквиния. Он ненавидит деспотизм, он служит свободному народу, он на страже свободы. У Брута есть сын. «Отдай свою кровь за Рим, ничего не требуя у него для себя, будь героем, будь гражданином!» — учит Брут сына, но тот молод, неустойчив и любит дочь изгнанного царя. Этим пользуются враги республики, и вот юный Тит, сын Брута — предатель. Оpoznан, схвачен, приведен к отцу.

— Сын? Разве у меня есть сын? — в гневе говорит Брут и отдает приказание казнить предателя. В последнюю минуту смягчается (он ведь отец!):

— Встань. Обними отца! Ты должен умереть: так надо. Иди. Прими казнь достойно.

Казнь свершилась. Народ взволнованно молчит. Он понимает трагедию отца.

— Он умер? — тихо спрашивает Брут.

— Да.

— Рим свободен, этого довольно!

Кисти знаменитого художника Давида принадлежит известная картина на ту же тему: мужественная фигура

Брута и на носилках молодое тело казненного Тита. Картина написана в 1789 г.

Революционные французы нуждались тогда в патетической героике древности.

«ЗАИРА»

Все упрекают меня в том, что я не уделяю места любви в моих пьесах. На этот раз они ее получают, клянусь вам, но это не будет галантной любовью.

Вольтер, 19 мая 1732 г.

В дни Вольтера во Франции стал складываться стиль рококо (от фр. *rocaille* — ракушка). В архитектуре, в росписях и лепных украшениях дворцовых зал и дворянских гостиных, даже в мебели проявлялось тяготение к тонким затейливым узорам, к чему-то хрупкому, эфемерному, любовь к изящным безделушкам, к нежным бледно-розовым или бледно-голубым тонам. Поэты рококо славили праздность, наслаждение — легкое и бездумное. С галантной игривостью воспевалась любовь, рисовался хрупкий мир эротической сказки.

Именно от подобной галантности (*galanterie*) хотел уберечь свою пьесу Вольтер. Но идя за вкусами публики, он все-таки писал пьесу о любви. Это была трагедия «Заира». Он вспомнил захватившую его в Англии историю венецианского мавра («Отелло»),

Конечно, все это для Франции не подходит, — полагал он. Шекспир игнорировал благопристойность. У него страсти слишком обнажены, конфликты чрезмерно остры. Нужна полирующая рука. И в воображении возник другой «Отелло», французский его двойник. Это был тот же ревнивец, или, вернее, такой же доверчивый, как и шекспировский Отелло, но только цивилизованный, рыцарски изысканный, галантный.

Так родилась трагедия «Заира». Вольтер посвятил ее второму своему английскому другу Фолкнеру. Он заранее извинялся за нее перед английским зрителем. («Брут» был уже поставлен в Лондоне.) Конечно, «Заира» так не пленит Альбион: «У вас аплодируют слову «родина», у нас — слову «любовь».

Но ему хотелось чему-то поучить и англичан. Пусть смягчат свои нравы. Французы им помогут в этом. «Можно ли так много места уделять теме любви в театральных представлениях? (Речь идет о «Заире». — С. А.) Конечно, это недостаток, но недостаток всеобщий, и я не знаю, как назвать эту слабость, придающую человеческому роду столько очарования.

Французы в этом преуспели больше, чем все древние и современные народы вместе взятые. Любовь предстает в наших театрах в свете благопристойности, изящества и правды. И это потому, что французы создали общество, чего не сделали другие нации.

Продолжительная, столь яркая и столь пристойная совместная жизнь двух полов создала во Франции какую-то особую культуру, которой нет нигде в другом месте. Общество создают женщины. Все народы, которые имели несчастье их обособить, лишились общества. Нравы, еще суровые у вас, политические распри, религиозные войны, у вас свирепые, лишили вас вплоть до Карла II сладостного чувства общества даже в условиях свободы!» И урок благопристойной любви преподавал Вольтер родине Шекспира, вернув ей ее Отелло напудренным и напояженным, прошедшим школу версальской учтивости.

Тема любви и ревности. Восточный деспот Орозман, — но благородный, пылкий, молодой, страстно влюбленный в христианку Заиру и любимый ею. Цепь роковых ошибок. Орозман подозревает возлюбленную во лжи. Когда истина раскрывается, зло уже совершено, Заира мертва.

Что же лежит в основе трагического конфликта? Ревность? Нет. Религия. Нетерпимость. Жестокая, бессмысленная разобщенность и вражда людей из-за дурацких религиозных предрассудков. И снова политическая идея, политическая страстность.

Неискушенных зрителей потрясла романтическая сторона пьесы — любовь Орозмана и Заиры, роковая ошибка, трагическая гибель прекрасных возлюбленных. Потoki слез проливали чувствительные современники Вольтера. Умы более глубокие видели в пьесе осуждение религиозной нетерпимости и проникались ненавистью к церкви. Выразительны lamentации русского зрителя, поэта Сумарокова: «Сия трагедия весьма хороша, по я, по несчастно моему, окружен был беззаконниками, которые во все вре-

мя кощунствовали, и ради того вступающие в очи мои слезы не вытекали на лицо мое».

15 августа 1732 г. состоялась премьера «Заиры». Роль героини исполняла Жанна Госсен. В ее игре было много обаяния. Едва она вступала на сцену, все будто преображалось. Какой-то мягкий свет исходил от нее. Движения ее были ровны, естественны. Большие глаза лучились, и голос раскрывал бездну чувств. Артистка прошла хорошую школу. Вольтер предупреждал ее от излишней аффектации.

— Ради бога, не так театрально. Не спешите объясняться зрителю, не утрируйте, не афишируйте свои чувства. Зритель вас и так поймет. Будьте самой собой, а вы же ангел. В вас так много грации.

Четвертое представление принесло особенный успех. Всеобщее одушевление овладело актерами. Все как бы слилось, стало одним дыханием, и это передалось залу. Впрочем, ни театрального зала, ни сцены в тот вечер не существовало. Была жизнь с высокими чувствами, страстями, жизнь, не похожая на реальную и обыденную, жизнь в обстановке ишой, экзотической, но все-таки жизнь, а не иллюзия, не выдумка автора. Вольтер дивился. Что значит чувство? Никакое умствование не устоит перед единым движением подлинного чувства.

Когда он выглянул из ложи, партер взгремел аплодисментами. Толпа ревела от восторга. Ложи, расцвеченные яркими туалетами дам, посылали ему менее шумные, но не менее выразительные комплименты, в воздухе мелькали платочки, увлажненные слезами. Автор смущенно отступил в глубь ложи, он не знал, как ответить на привет публики. Он был бы обманщиком (так говорил он сам), если бы скрыл и от себя и от других, что ему было очень приятно, что он испытал наконец первую большую радость после позора Бастилии и изгнания.

— Ах, друзья, как это сладко быть ценным у себя на родине!

Вольтеру всегда нравились аплодисменты. Он жадно их искал и бурно обижался на критику, на самую малейшую, самую безобидную. Это была его слабость, комическая сторона его натуры, постигаемая, конечно, им самим где-то в уголках скептического и насмешливого ума. Но в данном случае он был счастлив по-настоящему.

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

...Вольтер первый пошел по новой стезе — и внес светильник философии в темные архивы истории.

А. С. Пушкин

История — наука о последовательном развитии человеческого общества, о его жизни на протяжении столетий и тысячелетий. Но последовательно ли оно развивалось? Столько событий, столько человеческих судеб, столько фактов, значительных и малых, запечатлелось в летописях народов! Как разобраться в них? Как найти ту нить Ариадны, которая бы не позволила историку заблудиться в лабиринте событий? Есть ли вообще единая идея исторического процесса, есть ли закономерность, или в истории царит хаос, события происходят случайно и нет никакой связи между ними? Вот вопрос, всегда волновавший историков.

В. И. Ленин призывал к «изучению истории, как единого, закономерного во всей своей громадной разносторонности и противоречивости, процесса»¹. История человечества есть, следовательно, единый процесс, закономерный, разносторонний и противоречивый.

Вольтер произвел переворот в исторической науке своих дней. Французские историки, близкие ему по времени, не мудрствуя лукаво, не утруждая себя поисками философского элемента истории, иначе говоря, подлинных причин событий, движущих сил истории, все объясняли волей бога. Большим авторитетом пользовалась тогда книга епископа Боссюэ «Рассуждения по всеобщей истории», написанная еще в XVII столетии. Автор, знаменитый проповедник, с большим ораторским блеском рассказал, в сущности, только о событиях, которые описаны в Ветхом и Новом заветах Библии. В заключении он писал, обращаясь к наследному принцу, сыну Людовика XIV, для которого книга и создавалась: «Итак, помните, монсеньор, — длинная цепь частных причин, которые создавали или разрушали царства, зависела от неисповедимых путей Господних. Бог с высоты небес правит миром. Все царства, все сердца в его руках. Иногда он сдерживает страсти людей, иногда опускает поводья и дает разбушеваться люд-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 58.

ской стихии. Он создает завоевателей. Тогда он парализует страхом все, что на их пути, и наполняет их сердца великой отвагой. Он создает законодателей. Тогда он дарует им мудрость, указуя им на беды, которые угрожают государству, и на основы общественного благоденствия».

Французские школьники в дни Вольтера изучали книгу Роллена «Древняя история», в которой автор утверждал, что история «демонстрирует повсюду величие Бога, его могущество, его справедливость и мудрость, с какой он управляет вселенной».

История человечества конечно начиналась с Адама. Роллен без тени сомнения писал: «Чем ближе к местам, где жили дети Ноя (то есть к Палестине.— С. А.), тем совершеннее были науки и искусства».

Особой популярностью пользовалась тогда семитомная «История Франции» Даниэля, изданная впервые в 1696 г. и девять раз переиздававшаяся в XVIII столетии. Это была история королей.

Душу народа составляют монархи. «Это центр, к которому все должно сводиться». «История государства или народа имеет своим главным предметом монарха»,— рассуждал автор. Вольтер негодовал: «Даниэль считает себя историком, потому что записал даты и рассказы о баталиях, в которых ничего не смыслит. Он должен был рассказать о народах, о главных учреждениях, законах, обычаях, нравах и о том, как они менялись. Народ вправе ему сказать, я требую своей истории, а не истории Людовика Толстого или Людовика Упрямого».

Историки в дни Вольтера не всегда отделяли подлинные факты от легенд, писали о чудесах, о кровавых дождях, выпадавших в годы несчастий, о каком-нибудь несправедливом епископе, съеденном крысами, и пр. Вольтер требовал строгой правды, научного подхода к истории, «змеиной осторожности» в толковании фактов. Общим недостатком исторических сочинений своего времени он объявлял «отсутствие в них философского принципа».

«Кажется, история всегда была хронологической компиляцией, ее не писали ни в гражданском, ни в философском смысле... Я стремился, насколько мог, создать историю нравов, наук, законов, предрассудков. Писали почти всегда историю королей, я хочу дать историю людей».

Какой же «философский принцип истории» и ее основную движущую идею выдвинул Вольтер? Прогресс разу-

ма, иначе говоря, прогресс просвещения, культуры, науки, искусства. Он увидел в истории человечества картину дикости, изуверства, жестокостей, суеверий, предрассудков, но при этом постепенное и победоносное восхождение разума. Много бед претерпело человечество, много врагов было у разума. Это были прежде всего церковники и жрецы всех мастей, но человечество все-таки неуклонно шло вперед. Разум и наука шаг за шагом овладевали миром, преодолевали предрассудки и невежество. Разум, как полагал Вольтер и его соратники просветители, в конце концов приведет людей ко всеобщему благосостоянию.

Здесь сказались достоинства и недостатки социальной программы французских просветителей: их исторический оптимизм, их вера в прогресс и их несколько завышенное представление о силе идей и мнений.

Для Вольтера история имела значение только как арсенал человеческого опыта, она должна была учить потомков на роковых ошибках предков. Для него это была наука создания нового общества. Само же историческое повествование, как полагал он, есть искусство, оно требует таланта. «Искусство хорошо писать историю дается немногим... много рецептов, но мало больших мастеров».

Итак, Вольтер открыл новую страницу в исторической литературе, изгнал сверхъестественные элементы, напыщенную риторику во славу королей и ратных подвигов, обратился к изучению реальных фактов и реальных причин событий. Впервые изучению подверглась жизнь народа, его быт, культура. История становилась наукой. По стопам Вольтера уже в XIX столетии пошла блестящая плеяда историков — Гизо, Мишле, Тьери.

«ИСТОРИЯ КАРЛА XII»

Карл XII сделал попытку вторгнуться в Россию; этим он погубил Швецию и очевидно показал неприступность России.

Ф. Энгельс

Еще в Англии Вольтер начал собирать материалы о шведском короле. В 1731 г. он издал свою книгу о нем. Он использовал каждую встречу с людьми, стоявшими когда-то в центре событий и вступившими в тот или иной контакт с Карлом, — с польским королем Станисла-

вом Лещинским, с вдовой герцога Мальборо, с адъютантом Карла Секьером, с лордом Боллингброком. Он изучил записи шведского офицера Адлерфельда, и перед ним довольно четко вырисовалась фигура короля, мученика тщеславной мечты и мучителя своего народа. Под пером Вольтера она обрела зловещие черты. Книга читалась современниками с трепетом душевным. У старшего поколения еще свежи были в памяти описываемые годы.

«История Карла XII» — научный труд и вместе с тем образец великолепной, поистине художественной прозы. Раскроем ее.

Суровый край. Суровые, крепкие, мужественные люди. Швеция господствует над Балтикой. Ей подчинены все прибалтийские земли. Суров, непреклонен, деспотичен шведский король Карл XI, деспотичен даже у себя дома, с сыном и женой. Когда последняя однажды попыталась вступить за кого-то из подданных, он резко оборвал ее: «Сударыня, мы брали вас затем, чтобы вы давали нам детей, а не советы». И потом возненавидел и вогнал в гроб.

Его сын (Карл XII), очевидно, мог бы быть личностью выдающейся, если бы жил в другой среде. Но он рос с сознанием, что воля короля превыше всего, что государство, а значит прежде всего люди, по смерти его отца будут принадлежать ему всецело. И он научился не считаться ни с их мнением, ни с их присутствием. Только лицо королевской крови — будь то современник, будь то далекий персонаж истории — могло иметь для него какое-то значение.

Он был упрям. Латынь ему показалась несносной, и он отказался изучать ее, но ему сообщили, что короли польский и датский отлично владеют ею. Тогда он приложил все усилия, чтобы усвоить латынь, и усвоил ее блестяще. Он был самолюбив и с детства пожираем жаждой славы. Прочитав «Историю Александра Великого» (Македонского) Квинта Курция, он заявил: «Я буду таким же!»

— Но он жил только тридцать два года, — ответили ему.

— А разве этого мало для завоевания стольких царств?

Разговор передали королю. Тот возликовал: «Мальчик, кажется, будет стоять больше меня». И волчонок продолжал расти. Увидав однажды библейскую надпись: «Бог

дал, бог взял», — он перечеркнул ее и написал свое: «Бог дал, и сам дьявол у меня не отнимет». Король умер, когда его сыну было пятнадцать лет. Править стала бабка Ядвига-Элеонора Гольштейнская.

Однажды на смотре войск он заявил: «Доколе мы будем слушать приказы бабы?» Государственный советник Пипер, неразлучный потом с ним вплоть до Полтавы, понял, что от него ждут. Королева-регентша была отстранена, королю-юношу короновали. На церемонии коронации он дал первое свое представление. Вырвав из рук архиепископа корону, он надел ее себе на голову, дерзко озирая стоящих вокруг. Присутствующие различно истолковали этот жест: одни увидели шалость своевольного ребенка, вторые — волевой акт смельчака, третьи — более дальновидные — повадки тирана.

Сразу же начались приготовления к войне. 8 мая 1700 г. жители Стокгольма провожали своего короля, сказочно юного и прекрасного, в дальний поход. В воображении самовлюбленного Карла в это время витали образы Александра Македонского и Юлия Цезаря, их лавры терзали его сердце. Он готов был пролить каплю за каплей кровь всех своих храбрых солдат, превратить в пепел все города и села мира, чтобы сподобиться судьбе этих знаменитых завоевателей.

Он упрямо шел к своей цели; а целью была слава во что бы то ни стало. Он отказался от удобств и комфорта. Домом его стала походная палатка без всяких украшений, одеждой — солдатский мундир, из грубого синего сукна, обувью — высокие сапоги, не снимая которых, он часто засыпал на своей походной кровати или просто на земле. Ни осеннее пепелье, ни зимняя стужа, ни холод, ни жара — ничто не останавливало его. Он отказался от всех радостей и наслаждений. Он не пил вина, ни разу не взглянул на женщину, он не читал книг, не увлекся ни одним видом искусства, и так как не считал окружающих достойными доверительных бесед, то почти ни с кем не говорил. Отдавал только приказы. В конце концов он просто одичал. Понял это и еще более замкнулся в себе теперь уж из чувства стыда, боясь обнаружить перед другими неловкую свою речь, пеловкие солдатские манеры.

Его безбородое, женственно округлое лицо с большими синими глазами, с пухлым ртом, с тонко очерченными бровями, лицо, в сущности красивое, приобрело отталкиваю-

щее выражение высокомерия и наглой дерзости. Он часто смеялся, но смех его не веселил — металлический, резкий, презрительный смех. На обедах его царило гробовое молчание.

Он был храбр, храбр до дерзости, до мальчишеского озорства. Робел он только перед женщинами, за всю свою жизнь так и не приблизившись ни к одной. Красавица графиня Кёнигсмарк тщетно пыталась добиться у него аудиенции. Он решительно отказывался принять ее. Тогда она стала появляться в тех местах, где он имел обычай прогуливаться. Однажды они встретились на узкой дороге. Графиня улыбаясь вышла из своей кареты. Карл нашел в себе силы поклониться ей, но, не проронив ни слова, повернул свою лошадь обратно и ускакал.

Дела поначалу шли хорошо. Дания сдалась почти без огня. Русские под Нарвой потерпели жестокое поражение. «Они, — пишет Вольтер, — были крепкими, неутомимыми и, пожалуй, столь же храбрыми, что и шведы... но состояли из дикарей, оторванных от своих лесов, одетых в звериные шкуры, вооруженных стрелами или дубинами (ружей было очень мало).

Никто из солдат еще не видел правильной осады города, во всей армии не было ни одного хорошего канонира. Сто пятьдесят пушек, которые могли бы превратить маленький городок Нарву в развалины, едва лишь сделали небольшую брешь в стене».

Этим людям противостояли хорошо вооруженные, обученные, дисциплинированные шведские войска. Они одержали победу легко, взяв много пленных, с которыми обошлись с крайней жестокостью.

Карл XII перестал считать теперь русские войска сколько-нибудь стоящими внимания. Это заблуждение стало для него роковым. Польша подчинилась ему. Перед ним трепетала Германия. Он хотел быть щедрым, даровать царства. И опять ради славы, только ради славы каждый его шаг, каждый жест рассчитан был на анналы мировой истории. Ему приглянулся молодой польский аристократ Станислав Лещинский. Пусть будет он королем польским, а царствующий Август пусть сойдет со сцены. Ничто не останавливало воинственного короля. В Польше разгоралась гражданская война. Лилась кровь, рушились дома, без крова оставались тысячи несчастных, пустели поля. Карл играл в войну. Однажды каприза ради он помчался

один, без войск и свиты в Дрезден, где в то время жил смещенный им Август. Тот принял его, как принимают нежеланного, но опасного гостя. Разговор не клеился. Гость говорил о своих грязных солдатских сапогах. Так давно он их не снимал. Август делал вид, что разговор о сапогах его очень занимал.

В лагере Карла были обеспокоены его исчезновением. Но он возвратился так же неожиданно, как и уехал.

— Как вы решились? Одни... в стане врага? Вас могли...

— Не посмеют! — говорил Карл, резко, неприятно смеясь.

Он хотел лишить трона и Петра, царя русского, и тоже отдать этот трон кому-нибудь, лишь бы о нем, о Карле, говорили.

Между тем шли годы. Ни одного дня не проходило без выстрела, без стычек, битв, кровопролитий. Офицер Адлерфельд бесстрастно и точно заносит в свой военный дневник события каждого дня. «Если вы станете читать записи г-на Адлерфельда, то не найдете в них ничего, кроме того, что: в понедельник столько-то тысяч убито на таком-то поле; во вторник целые деревни превращены в пепел, женщины с детьми на руках сгорели в пламени; в среду тысячи бомб обрушились на дома свободного и ни в чем не повинного города, который не смог собрать ста тысяч экю для победителя, проходившего мимо его стен; в четверг пятнадцать или шестнадцать сотен пленных погибло от холода и голода. Таков примерно сюжет четырех томов», — писал Вольтер.

Вольтер, нарисовав одну-другую картину из жизни шведского короля, неизменно бросал взгляд в сторону огромной, лежащей за лесами и долами Московии. Что-то поделывает там русский царь Петр? А царь Петр не гонялся за славой. Царь Петр рыскал по свету, ища знаний, царь Петр вез к себе на родину ученых и мастеров, строил флот, строил славный город на Неве, изучал сам ремесла и искусства, и дивно поднималась новая страна, приобщаясь к европейской культуре.

Петр трезво оценивал обстановку, здраво мыслил.

— Шведы долго еще будут нас бить, но в конце концов они сами научат нас их же победить.

В лагерь к Карлу XII прибыл Джон Черчилл герцог Мальборо, знаменитый полководец, ловкий дипломат,

хитрый политик, о котором французы сложили песенку («Вот Мальбрук в поход собрался»). Зачем прибыл сюда сей немаловажный персонаж мировой истории? Позондировать почву. Англия, которая в это время была в состоянии войны с Францией из-за Испанского наследства, видя успехи Карла XII, очень боялась его сближения с ее соперницей. И Мальборо потащился в ставку короля. Зоркие глаза старого интригана усмотрели на одном из столов карту России. Будто ненароком, он назвал имя Петра. Глаза Карла загорелись недобрым огнем. Тогда лукавый герцог начал с простодушием ангельским хвалить Петра, распалая ненависть шведа, терзая его самолюбие.

Лукавому царедворцу все было ясно. Англии ничто не угрожает. Войска Карла XII завязнут в лесах и болотах Московии. И Мальборо отбыл восвояси, не сделав королю никаких предложений, ограничившись светской беседой. По слухам, однако, он дал перед отъездом крупную сумму денег канцлеру Пиперу, чтобы тот не сдерживал воинственного пыла своего государя, направленного в сторону Московии. Вольтер отвергает этот слух. Петр, однако, верил в него, и, когда Пипер после полтавского боя попал в плен к русским, он обошелся с ним круто. Пипер умер в России.

Петр не хотел войны. Он предложил Карлу переговоры, но швед высокомерно ответил: «Об этом мы поговорим в Москве». Петр улыбнулся, когда ему привезли ответ.

— Мой брат Карл персону свою ставит не ниже Александра, но льщу себя надеждой, что во мне никогда не найдет он Дария.

И война началась. Войска Карла пересекли русские земли. Непроходимые лесные чащи, болота значительно прибавили их военное снаряжение, количество их пушек да и число солдат. Предательство Мазепы не принесло Карлу особой пользы.

На страницах книги Вольтера промелькнул на мгновение этот человек, самолюбивый, мстительный, прошедший молодость свою бурно и озорно. Вольтер рассказал, между прочим, как по украинской степи мчалась однажды лошадь с привязанным к ее спине обнаженным телом юноши. Это был молодой Мазепа, соблазвивший супругу какого-то шляхтича и подобным образом наказанный им. Романтическая картина, нарисованная Вольтером, поразила Байрона, и он написал поэму «Мазепа», расцветив ее все-

ми красками своего воображения. Как известно, и в старости Мазепа не переставал грешить. История его с Матрешей, дочерью Кочубея, в глубоко психологическом плане раскрыта в поэме Пушкина «Полтава», где девушка получила более благозвучное имя Мария.

Страницы, посвященные битвам в России, полны драматизма. Петр приказывает стрелять в турок. «Стреляйте и в меня, если побегу!»

8 июля 1709 г. состоялась знаменитая битва под Полтавой. Вольтер мастерски описал ее. «Царь русский в центре своей армии. У него чин генерал-майора, и он подчиняется генералу Шереметьеву.

Вот он объезжает полки на своем турецком коне, подающем ему султаном, ободряет солдат и капитанов, каждому обещает награду».

Вот другой лагерь. Здесь шведы и раненный в ногу Карл. «Первые залпы русских подбили двух лошадей с носилками Карла. Он велел запрячь других. Следующий залп разбил носилки и сбросил короля наземь. Шведы смешались, неприятельский огонь усилился, первая линия потеснила вторую, вторая побежала. Передовые части русских, состоящие только из десяти тысяч пехотинцев, разбили всю шведскую армию. Как изменились времена!»

Пушкин переложил эти строки вольтеровской книги в ослепительные стихи. Эти стихи гениальны, ни с чем не сравнимы, но картины взяты у Вольтера. Тот же план, то же противопоставление Карла и Петра и даже турецкий конь под Петром:

Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом...
Гордась могущим седоком...
И се — равнину оглашая
Далече грянуло ура:
Полки увидели Петра...
И перед синими рядами
Своих воинственных дружин,
Несомый верными слугами,
В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.

Вольтер рассказывает о пире Петра на поле боя после победы, о кубке, который он поднимает в честь своих учи-

телей шведов, пленных шведских генералов, сидящих за одним столом с ним.

У Пушкина та же картина:

Пирует Петр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает.

Любуется Вольтер Петром, но сердце его не приемлет жестокости, может быть, даже и объяснимой обстановкой, условиями. Он заключил картину пира Петра многозначительной фразой: «Но этот государь, который обошелся так хорошо со шведскими генералами, приказал колесовать всех казаков, попавших в его руки».

Вольтер противопоставляет Петра Карлу не только в живописной картине Полтавской битвы, он делает это в широком историческом и политическом плане. Первый — созидатель, второй — разрушитель. «Карл имел титул непобедимого. Мгновение отняло его. Народы дали Петру Алексевичу титул Великого. Потерпев поражение, он все равно не утратил бы этого титула, ибо заслужил его не за военные победы».

История Карла не закончилась разгромом его войск. Вольтер неумолимо последовал за ним в Турцию, проследил каждый его шаг, не поленился тщательно изучить ничтожнейшие дела этого мученика честолюбия, этого фанатика славы, этого самовлюбленного безумца. Вот он в Бендерах, злой и нетерпимый, с ненавистью к Петру, жаждой мести, с глупой, бессмысленной надеждой столкнуть Турцию с Россией.

Идут годы. Он валяется на кровати, вперив пустые глаза в потолок, не зная, чем себя занять. Вот на мгновение вспыхнула надежда. Неудачный прутский поход Петра обещает долгожданное мщение. Вот-вот, кажется, турки дадут шведскому королю войска и бросят ему в руки русского царя. Но турки предпочли мир. И снова пустота и мучительная тоска бездействия.

Турки начинают тяготиться гостем. Его пребывание накладно и хлопотно. Скуки ради он затевает склоки, жалую-

ется на визирей. Ему вежливо намекают, что король должен жить у себя дома. Он не понимает. Ему говорят более ясно. Тогда он просит денег. Ему дают вдвое больше просимого, но, взяв деньги, он все-таки остается. Его хотят принудить силой покинуть страну. Он запирается со своим маленьким войском в доме. Дом осаждают. Он отстреливается. Ведет бой по всем правилам военного искусства. Результаты плачевны: его друзья, согласившиеся разделить с ним его несчастье, или убиты, или проданы в рабство. Самого его, взяв за руки и за ноги, тащат к визирю. Как напраказивший мальчишка, теперь он улыбается. Для него это забава. И его оставляют в покое, дав ему мизерное содержание. Пусть остается хоть до самой смерти. И снова пустота и безделье. Так длилось пять лет. Вернуться на родину? Нет, разве может он возвратиться с позором, он, мечтавший о славе Александра и Цезаря? Но, наконец, и он не выдержал. Быстры сборы, скор отъезд. Днем и ночью инкогнито мчится он через Германию на север.

Ничего хорошего не принесло Швеции его возвращение. Впрочем, он не пожелал вернуться в Стокгольм. Только с лаврами героя, только с победами он мог бы это сделать. Новые поборы, новые налоги. Страна истощена вконец. В деревнях остались только старики и дети. Швецию терзают враги со всех сторон. Теперь бы только обороняться, а Карл задумал завоевательный поход в Норвегию. Дивятся шведы, но не смеют перечить. Они помнят ответ Карла, когда сенат вздумал роптать на его долгое отсутствие. «Вам нужен король, так вот вам мой представитель — мой сапог. Пусть он председательствует в сенате». И он выслал в сенат свой солдатский сапог. И нация молчала, когда нужно было его судить как тягчайшего государственного преступника. Такова система деспотизма.

В Норвегии при подготовке к осаде одной из крепостей морозным декабрьским вечером 1718 г. Карл XII вышел осматривать траншеи. Он был чем-то недоволен и сделал выговор французскому инженеру Мегре. Неожиданно неприятельская пушка выстрелила картечью. Осколок попал ему в правый висок. Он упал замертво с тяжелым вздохом, инстинктивно схватившись за рукоятку пшуги. Лицо было обезображено, левый глаз запал вглубь черепа, правый выскочил наружу. Инженер Мегре, человек «своеобразный и бесстрашный», как пишет Вольтер, холодной остротой заключил трагикомическую историю швед-

ского короля: «Пьеса окончена, господа, пойдёмте ужинать».

Швеция облегченно вздохнула. Последовали мирные договоры со всеми, на кого шел вчера войной их безумный король. Наследование престола было отменено. Наученные горьким опытом шведы не хотели больше рисковать. Королевский пост стал выборным.

Пушкин в своей поэме «Полтава» указал на те же черты характера Карла XII, что и Вольтер. Он осудил «воинственного бродягу», ослепленного «беглым счастьем побед». Эпитет «беглый» очень точно передает мысль Вольтера об эфемерности славы шведского короля, противопоставленной им крепкой славе Петра-созидателя.

Пушкин писал о Карле XII:

Он мальчик бойкий и отважный;
Два-три сраженья разыграть,
Конечно, может он с успехом,
К врагу на ужин прискакать,
Ответствовать на бомбу смехом...
Как полк, вертеться он судьбу
Принудить хочет барабаном;
Он слеп, упрям, нетерпелив,
И легкомыслен, и кичлив,
Бог весть какому счастью верит;
Он силы новые врага
Успехом прошлым только мерит...

* * *

Личность Карла XII никогда бы не привлекла внимание Вольтера. К подобным типам он питал крайнюю антипатию. Он не стал бы без особой нужды ворошить старые архивы, восстанавливать в памяти картины народных бедствий, ужасов войны, преступлений против человечности, то есть вспоминать то, что нужно было скорее забыть. Но шведский король ему был пужен как наглядный урок. Может быть, прочтя его книги, короли избавятся от безумной страсти завоеваний, может быть, народы поймут, какую страшную опасность таит в себе бесконтрольная власть одного человека? «Так опасен один-единственный человек, когда он абсолютный монарх в сильном государстве», — заявляет Вольтер, указывая на своего мрачного героя.

Но ведь и во Франции правил абсолютный монарх. Если Карл XII ушел из жизни, то его французский собрат

Людовик XV был еще молод, жил в полном здравии и осуществлял ту бесконтрольную власть единой личности, против которой настраивал своих читателей Вольтер. Книга с историческим сюжетом, книга научная, философская, художественная, как бы мы ее назвали сейчас, — тогда была политическим выступлением против сложившихся форм государственной власти, звала к слому этих форм, а это уже имеет прямое отношение к революции, совершившейся позднее.

Впрочем, этого как раз и не заметила цензура Людовика XV. Никому и в голову не пришло, что в книге заключена антифеодалная крамола. Боялись иного: как бы не обиделся король польский Август, о котором не всегда лестно отзывался в книге Вольтер.

«ПИСЬМА ОБ АНГЛИИ»

Французы наделили английский материализм остроумием, плотью и кровью, красноречием. Они придали ему недостававшие еще темперамент и грацию. Они цивилизовали его.

К. Маркс

Еще в Англии в 1728 г. Вольтер писал свои знаменитые «Письма». Эти письма предназначались французам. Теперь, в 1733 г., во Франции он готовил их к печати. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, какую реакцию они вызовут в обществе. Он знал, что последствия могут быть очень мрачными для него, но отказываться от издания не хотел и не мог. Правда, он не собирался идти с открытым забралом на своих врагов. Ведь можно бросать стрелы, не показывая руки. В июле 1733 г. он писал по этому поводу своему другу Сидевилью в Руан.

«Бывают моменты, когда безнаказанно проходят самые дерзкие выходки, и, наоборот, случается так, что вещи самые безобидные выглядят опасными и преступными.

Есть ли что-нибудь более сильное, чем «Персидские письма»? Есть ли книга, в которой бы о правительстве и религии говорилось менее осторожно? Однако эта книга только открыла автору дорогу во Французскую академию. А Сент-Эврмон провел свою жизнь в изгнании из-за письма, которое было шуткой. Лафонтен жил мирно при

ханжеском правительстве... Овидия изгнали, и он умер у скифов. Есть особый час для несчастья. Я постараюсь прожить в Париже, как Лафонтен, и не быть изгнанным, как Овидий».

План его был таков: «Письма» должны появиться в Лондоне в переводе на английский язык. О книге, вышедшей в Англии, узнают во Франции, станут покупать, читать, негодовать, потом привыкнут и уже более спокойно примут французский ее текст. К тому же после Англии во Франции постесняются уж очень нетерпимо относиться к вольным идеям автора, и сей последний спасет свою буйную голову.

Побудительная причина «Писем» понятна. Вольтер, оскорбленный, униженный во Франции, с сердцем, переполненным обидой и гневом, прибыв в Англию, увидел там нечто такое, что, будь оно перенесено на его родину, сделало бы ее поистине раем на земле. Так ему казалось тогда. «Письма» его, в общем лестные для англичан, вовсе их не идеализировали. Зоркие глаза Вольтера отметили и смешное в их жизни, а иногда и нелепое. Но в целом они несли во Францию открытия и достижения соседней нации. Вольтер обладал магической силой слова, которая делала все темные, запутанные, сложные ходы человеческой мысли ясными и доступными всем. Он был рожденным популяризатором.

Ныне, читая его «Письма», не можешь не дивиться и не восхищаться блеску его речи, этому легкому, изящному, очень умному разговору, перемешанному шуткой и острым словом, который вместе с тем и очень делен, и полон великолепного знания фактов.

Англию от Франции отделяет лишь довольно узкий пролив; но французы, да и другие жители континента, почти ничего не знали о том, что делалось в островной стране. Гиганты мысли, которыми ныне гордиться мир, — Шекспир, Бэкон, Гоббс, Ньютон, Локк оставались тогда неизвестными на континенте.

Вольтер их вывел на широкую арену, рассказал о них, пробудил к ним интерес. Однако не только этот просветительский смысл имела его книга. Здесь ставились на обсуждение нации серьезнейшие вопросы социального, философского и политического характера.

Европа в те дни еще погрязала в крепостничестве. Мало кто осмеливался возвысить свой голос против социаль-

ной несправедливости. Крепостничество казалось извечным и почти неизбежным. Вольтер осудил его. «Наибольшая часть людей была в Европе тем, чем она еще является сейчас во многих частях света,— крепостными сеньора, чем-то вроде скота, который продают, покупают вместе с землей. Понадобились века, чтобы отдать должное человечности, чтобы понять, как это ужасно».

Александр Радищев через шестьдесят лет после написания этих строк Вольтером, сказал то же самое, то есть «как это ужасно — крепостничество!», и попал за это в Петропавловскую крепость и потом в ссылку в Сибирь. И подвергла его этому наказанию коронованная приятельница Вольтера Екатерина II.

Участь английского короля Карла I, казненного в Лондоне в 1649 г., пугала европейских монархов. Писать об этой казни сочувственно было равносильно самоубийству. Именно за напоминание об этой казни Екатерина II так разгневалась на Радищева и объявила его бунтовщиком хуже Пугачева. А Вольтер в 1728 г. в «Письмах об Англии» осмеливался писать:

«Английская нация—единственная на земле сумела упорядочить власть королей, сопротивляясь ей. В конце концов после многих усилий было образовано такое мудрое правительство, при котором монарх, всесильный делать добро, был бессилён совершать зло». Писать так в те годы — значило идти на гражданский подвиг.

Пожалуй, главенствующей темой всех произведений Вольтера была тема **религии**. Со времен Ренессанса она, эта тема волновала благородные и передовые умы. XVII век, утраченный репрессиями, которые христианская церковь обрушила на гуманистическую мысль Ренессанса, приглушил критику церкви. Теперь, в XVIII в., Вольтер снова ее возродил. И так как он писал много и в каждом своем произведении и даже в частных письмах, которые подписывал призывом *Ecrasez L'infâm* (Раздавите гадину! — то есть церковь), он так или иначе касался этой темы, то сделал ее предметом всеобщего внимания и критического обсуждения.

Возникает вопрос, почему церковь и религия заняли такое важное место в творчестве французских просветителей? Дидро и Гольбах, вдохновленные примером Вольтера, критиковали ее еще резче. (Вспомним мрачно-шу-

товское выражение Дидро «кишкой последнего попа последнего царя удавим».)

Ответ содержался в размышлениях Вольтера о роли религии и церкви в истории человечества. Церковь всегда контролировала умы народа. Ее влияние на массы было бесконечно велико. В «Письмах об Англии» он размышлял не без печали (как безумны люди!) о том, что основатели религий, сект, в сущности, ничтожные создания, подчинили себе огромные массы.

Больше всего волнует Вольтера нетерпимость церковников, их ненависть к другим религиям, их фанатическая жестокость. Он рисует идиллическую картину «примирения церквей» в здании английской биржи. Здесь купцы не спорят о вере, они торгуют.

Напомним, что Вольтер и вслед за ним все просветители неутомимо готовили почву для буржуазных преобразований во Франции. Вольтер писал: «Только потому, что англичане стали купцами, их Лондон теперь превосходит наш Париж и протяженностью города и числом жителей, и они могут выставить в море двести военных кораблей. Я не знаю, какая профессия более полезна государству, профессия перепудренного сеньора, который с точностью знает, в какой час просыпается король и в какой ложится, и с видом величия играет роль раба в приемной министра, — или торговец, обогащающий свою страну?..»

Открывая соотечественникам новые политические горизонты, Вольтер вместе с тем провозглашал и новую философию и **новый научный метод, метод Бэкона.**

Пусть до него много открытий сделало человечество, но все эти открытия были делом случая, счастливого стечения обстоятельств. Научной системы, которая бы неизбежно и закономерно вела к научным открытиям и изобретениям, не существовало. Ее нужно было создать, и ее создал Бэкон. Основой этой системы стал опыт. «Вскоре почти все ученые Европы обратились к экспериментам. Это было то спрятанное в земле сокровище, которое они, ободренные Бэконом, начали усиленно откапывать». Так восторженно пишет Вольтер об английском мыслителе. Но чу, наш философ, листающий стародавние печатные тексты, наткнулся на что-то смешное. Прищуренные глаза, затрепетавшие ноздри явно предвещают веселую минуту. Оказывается, Бэкон был суеверен. Какая находка для великого насмешника!

Бэкон верил, что герцогиня Бургундская была колдуньей и вызывала из ада тень Эдуарда IV (английского короля, 1461—1483 гг.), чтобы помучить Генриха VII (1485—1509). Об этом со всей серьезностью он сообщает в своей книге «Жизнь Генриха VII».

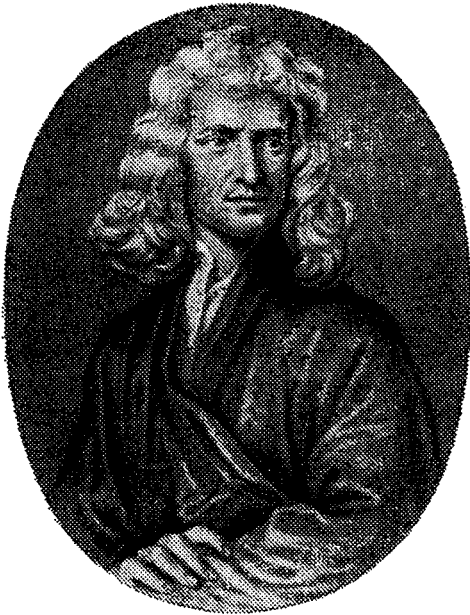
Понятен смех Вольтера, но да простятся современнику Шекспира маленькие слабости его века. Мы сейчас дивимся тому, что трезвый мыслитель Шекспир выводил на свою сцену духов и привидения. Нам кажется невероятным, чтобы он верил в их существование. Мы забываем о том, что это был XVI век.

Почти одновременно с Бэконом во Франции Рене Декарт тоже размышлял о методе познания («верном пути к истине») и пришел к прямо противоположному выводу, а именно: не нужно полагаться на опытное исследование, а только на выкладки хорошо организованного ума («Правила для руководства ума»). Он допустил существование врожденных идей, уводя тем самым науку в дебри идеализма. Крупнейший ученый, давший немало науке, он вступал в странное противоречие с самим собой. Христианская церковь, однако, усмотрела в рационализме философа большую опасность для себя и подвергла его сочинения запрету. Он жил в изгнании. Но позднее его идеи всецело завладели университетскими кругами Франции. Вольтер вступил в борьбу с ними, пропагандируя метод Бэкона.

«Канцлер Бэкон указал на путь, которым должно было идти, Галилей открыл законы падения тел, Торричелли начал постигать вес воздуха, который нас окружает... Появился Декарт. Он стал делать обратное, то есть то, что не нужно было делать, вместо того чтобы изучать вещи, он стал призывать к догадкам... Декарт слишком много полагался на выдумки. Первейший математик, он стал превращать философию в роман. Человек, который презирал опыт, который никогда не ссылался на Галилея, который хотел строить без строительных материалов, не мог построить ничего иного, как воображаемое здание...» («Век Людовика XIV»).

Письмо о другом мыслителе Англии философе Локке оказалось для Вольтера роковым. Именно оно породило сонмы врагов в темных монашеских сутанах. Речь здесь шла о главных аспектах христианской доктрины — душе.

Исаак Ньютон.
Гравюра Роберта
Белла.



Расхождение между Локком и церковниками сводилось в сущности к одному вопросу, может или не может материя мыслить. Церковники утверждали, что не может, что в тело человека при его рождении входит душа, входит уже с определенными познаниями, врожденными идеями, с его смертью душа отлетает. Локк утверждал иное. Материя мыслит. Материя познает самое себя. Человек (существо материальное) познает мир через органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус), через ощущения. Душа (Локк не мог отказаться начисто от христианской терминологии) есть не что иное, как наши способности мыслить. «Столько резонеров писали роман о душе. Пришел мудрец и скромно написал ее историю. Локк развернул перед человеком человеческий разум, как великолепный анатом — механизм человеческого тела».

Вольтер целиком согласился с английским философом. Он не преминул при этом и поехидничать над церковниками с их теорией врожденных идей: «Не могу постичь, как это я вскоре после зачатия был уже очень ученой душой, знающей тысячи вещей, которые я забыл при рож-

денин; владеть знаниями во чреве матери, когда они там совсем ни к чему, и потерять их, когда они так нужны, и никогда с той поры не вернуть их!»

Вольтер в своих «Письмах об Англии» рассказал и о Ньютоне. Он представил его Франции. Гениальный англичанин, неловкий в аристократических салонах, отнюдь не говорун, не остроумец, наоборот, с несколько тяжеловесной манерой речи, забывчивый, рассеянный в толпе профанов, и уж никак не популяризатор своих же собственных открытий, под пером Вольтера обрел легкий, изящный жест, повел занимательный разговор о самых сложных вещах так, что даже дамы, зевавшие при одном слове «наука», оставляли своих светских кавалеров, чтобы послушать удивительные истории о всемирном тяготении, о движении и распространении света, о бесконечности. Ньютон стал очень модным ученым во Франции.

Науку занимала тайна движения планет. Ученых мучил вопрос о том, какая сила заставляет планеты двигаться в небесном пространстве. В XVII столетии этому явлению дал свое объяснение французский философ Декарт. Он создал теорию вихрей. В своеобразном вихревом движении находится Земля, в подобном же движении, только при еще большей скорости, пребывает и вселенная. Пустоты, в сущности, нет. Мировое пространство заполнено материей столь прозрачной, что мы ее не видим. Разность в скорости этих вихрей создает ту силу отталкивания, которая отбрасывает любое тело, брошенное с земли, обратно на землю.

Эту теорию, доступную пониманию и достаточно убедительную, приняли современники Декарта. Даже мольеровские ученые женщины рассуждают с большим апломбом о его «вихрях» (комедия Мольера «Ученые женщины», 1672).

Ньютон, однако, опроверг ее и весьма остроумно: если Земля движется в вихревом потоке вселенной, причем не с одинаковой скоростью с последней, то рано или поздно она должна была бы остановиться, ибо возникли бы силы трения, замедлившие бы ее ход. Между тем этого не произошло и замедления не наблюдается вообще. Ньютон открыл закон всемирного тяготения и ввел в обиход понятие «гравитация». Оно объяснило все — и движение планет, и тяжесть тел на Земле, и приливы и отливы. Нам слова «тяготение», «гравитация», «притяжение» привыч-

ны и понятны, тогда они звучали очень странно для уха европейцев. Почему два тела тянутся друг к другу? Что их влечет? Какая сила? И что это за таинственная сила? Гораздо понятнее сила толчка, гораздо проще представить себе, что камень, брошенный с земли в небо, падает обратно потому, что что-то толкает его обратно. Вихри Декарта легче укладывались в сознании. И даже секретарь Французской академии Фонтенель, признавая великие заслуги Ньютона, сомневался в его законах всемирного тяготения.

На страницах своих «Писем об Англии» Вольтер так пародирует нападки французов (от имени Ньютона).

«Во-первых, слово «толчок» вы не более понимаете, чем слово «притяжение», если вы не постигаете того, почему одно тело тянется к другому, вы не объясните и того, откуда берет силу одно тело, чтобы толкнуть другое.

Во-вторых, я не могу принять теории толчка, ибо тогда я должен предположить, что какая-то небесная материя действительно толкнула все планеты, но я не знаю такой материи и могу доказать, что ее не существует.

В-третьих, я взял слово «притяжение» только для того, чтобы назвать ту силу, которую я открыл в природе, силу действительную и неоспоримую, связанную с неизвестным нам законом, с качеством, присущим самой материи, причину которого, может быть, если сумеют, откроют более способные, чем я».

Причину притяжения так и не объяснили до сих пор, но факт существования этой способности материи никто уже теперь не оспаривает.

• . •

Наконец, о Шекспире. Когда Вольтер писал свои «Письма об Англии», никто на континенте не знал великого драматурга. Знаменитому Гаррику, открывшему Шекспира, принесшему ему славу своей необыкновенной и вдохновенной игрой, было еще только десять лет. Сами англичане, хотя они уже начинали ценить своего гения, не понимали до конца, каким сокровищем они обладают. Вольтер свысока взглянул на Шекспира и, конечно, никогда не поставил бы его выше Корнеля и Расина, но он первый познакомил своих соотечественников с человеком «таланта сильного и богатого, естественного и возвышенно-

го, без малейшей искры хорошего вкуса и без малейшего знания правил».

«Заслуги этого автора погубили английский театр», — писал Вольтер. Через сто лет эту фразу повторит Байрон. Однако, как бы ни судил французский поэт Шекспира, этого «дикого гения», не признающего правил хорошего тона, грубого до неприличия и правдивого, как сама жизнь, он возбудил в европейском читателе великое любопытство к английскому драматургу.

«Есть сцены прекраснейшие, отдельные куски величественные и мрачные... в этих чудовищных фарсах, которые называются трагедиями», — распалая Вольтер интерес своих читателей, не думая о том, что сам создает английскому драматургу ореол славы во Франции. Позднее он очень пожалеет об этом. Он привел знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть?..» в своем переводе. Перевод точен. Правда, поэт предостерегал читателя: «Не думайте, что я передал английский текст слово в слово. Несчастье слагателей буквальных переводов: они переводят каждое слово и упускают смысл! Буква мертва, жизнь — в мысли».

Вольтер полагал, что одного перевода недостаточно, что французский читатель не ощутит достоинств английского автора, и потому дал здесь же свои собственные вариации на тему гамлетовских сомнений, представил так сказать «цивилизованного» Шекспира, приспособленного ко вкусам парижских театралов.

О смерть! Роковой момент! Страшная вечность!

Любое сердце леденеет от ужаса при одном твоём имени.

Так патетически и театрально держится вольтеровский Гамлет.

Достаточно сравнить два стихотворных текста — гамлетовский монолог и вольтеровские вариации, чтобы увидеть разницу между театром Шекспира и театром Вольтера.

У Шекспира поистине все грандиозно. Грандиозно настоящему. Вас захватывает океан событий, чувств. Пушкин признавался, что когда он читал Шекспира, то кажется, заглядывал в бездну.

Вольтер ошибочно полагал, что та изысканная благопристойность, галантность (издержки которой осмелел еще Мольер в своих «Смешных жеманницах»), является

достоинством французского классицистического театра и всячески утверждал ее.

«Знаменитый Аруэ, скажи нам, сколькими мужественными и великими красотами ты пожертвовал ради нашей лживой изысканности? И скольких великих созданий стоило тебе стремление угодить мелочному духу времени?» — порицал впоследствии своего старшего собрата Жан-Жак Руссо.

*
*
*

В Англии Вольтер написал и «Ремарки к мыслям Паскаля». Здесь спор двух веков. Паскаль умер рано, едва дожив до сорока лет, но мозг его едва ли мало жил. В 12 лет он уже состязался с Эвклидом, открыв самостоятельно начала геометрии. В 16— дивил обширностью познаний и дерзостным вторжением в неизведанные области точных наук, в 18— изобрел первую счетную машину. Его труды по математике, физике, механике составили славную страницу в истории человеческих знаний. Это был гений, поистине чудо природы.

Биографы рассказывают, что однажды он чуть не пал жертвою несчастного случая. На мгновение ощутил дыхание смерти и потом никогда уже не мог быть спокойным. Призрак смерти преследовал его всюду. Внезапно во время прогулки, дружеской беседы, работы, отдыха вдруг наплывало что-то туманное, хаотичное. Большое воображение приносило до боли реальные призраки. Темная бездна разверзалась перед ним, и ужас охватывал его. И нигде не мог найти успокоения несчастный человек. Тогда он обратился к богу. Удалился в монастырь Пор-Рояля, где жил в отрешении от мира, в посте и воздержании. Здесь обратился он к перу, и оказался несравненным стилистом. Его «Письма провинциала» и «Мысли» вошли в фонд классической французской литературы.

Свой спор с Паскалем Вольтер возобновлял трижды и в сущности занят был им всю жизнь. Первые страницы «Ремарок» были написаны в 1728 г. В 1743 г. он написал добавления к ним и, наконец, в 1778 г. незадолго до смерти, — «Последние ремарки к мыслям Паскаля».

Этот продолжительный, впрочем совсем не многословный диалог двух великих людей («Ремарки» занимают несколько десятков страниц) очень интересен и глубока.

Паскаль говорит о «величии и ничтожестве» человека, о непримиримых «противоречиях» его существа и полагает, что только христианская религия может объяснить их. Вольтер возражает: «Человек совсем не загадка, ...он снабжен чувствами, чтобы действовать, и разумом, чтобы управлять своими поступками».

Такова ясная, достаточно стройная, может быть, несколько прямолинейная концепция Вольтера — представителя революционного XVIII в. Тайн нет. Человек велик, разум его всемогущ. Победа будет за ним. И надо смело ринуться в борьбу. Отсюда самый прочный оптимизм.

А Паскаль? Он смущен. Человек ему кажется существом странным, загадочным, двойственным и уж никак не победителем в схватке с миром или самим собой. Паскаль со страхом озирается вокруг. Мир полон мрачных тайн. Он загадочен и враждебен этот мир. «Наблюдая ослепление и ничтожество человека и странные противоречия, которые кроются в его натуре, глядя на молчащую вселенную, в которой человек без света, предоставленный самому себе, будто заблудившийся в одном из уголков, не зная того, кто его сюда бросил, что он должен здесь делать, что с ним будет, когда он умрет,— я прихожу в ужас, как если бы я спящий был унесен на пустынный и мрачный остров и, проснувшись, не знал, где я и как мне выбраться. Меня восхищает, что люди, находясь в таком жалком состоянии, не предаются отчаянию».

Но он, сам Паскаль, этому отчаянию предался. Потому и ушел в уединение Пор-Рояля. Паскаль оправдывает свой шаг, создает своеобразную философию созерцания и пассивного невмешательства в судьбы мира. «Мы ведь видим только себя». Вольтер взрывается. Как это видеть только самих себя? А где же страсти, где жизнь, где действие, борьба? Его активной натуре это кажется величайшей нелепостью. «Выражение «видеть только себя» лишено всякого смысла. Что это за человек, который не действует, а предается самосозерцанию? Или он дурак, бесполезный обществу, или не должен жить. И что он будет созерцать? Тело, ноги, руки, пять органов чувств? Может быть, он будет созерцать свою способность мыслить? Но он может это делать только приведя в действие эту способность».

Вольтер вступает в спор с Паскалем и по нравственным вопросам. Паскаль утверждал альтруизм. Он сетует

на злую себялюбивую природу человека. Зачем бы, кажется, человеку думать только о себе? Как бы это было хорошо и благородно, если бы он заботился только о других! Как бы преобразился тогда мир! Вольтер возражает:

«Чувство любви к себе каждое живое существо получило от природы, она же обязала нас уважать его и в других... Конечно, бог мог бы создать существа, помышляющие только о благе других. Тогда бы купец совершал рейс в Индию ради милосердия, каменщик работал бы ради удобства своего ближнего и т. д. Но бог устроил иначе, так не будем же осуждать инстинкт, который нам дан, пользуем его».

Эта нравственная философия Вольтера, в сущности, трезвая и справедливая, была необходима поколениям, готовившим и совершавшим буржуазную революцию. Мир идей феодализма подвергался пересмотру. Вольтер, а вслед за ним и все просветители безжалостно срывали сентиментальные покровы с человеческих отношений и обнажали реальную и, увы, жестокую сущность этих отношений.

Выход в свет книги «Письма об Англии» не прошел так безмятежно, как на то надеялся Вольтер. В Париже на Новом мосту ее продавали из-под полы, и вскоре слух о ней дошел до властей. Автор предусмотрительно удалился из столицы.

Дижонский интендант получает из Версаля приказ арестовать Вольтера и заключить в замок Доксон. Приказ опоздал, Вольтер бежал в Лотарингию. Там он узнает, что его издатель в Бастилии, что книга проклята и сожжена рукою палача (позднее она будет осуждена и Римом), что в его парижской квартире произведен обыск, что всюду разыскивают отпечатанные экземпляры его книг и уничтожают.

Вольтер пишет в Париж, клянется, что никакого отношения к осужденным сочинениям не имеет.

Перебирается в Шампань, поближе к границе. Перепуган. Но все в конце концов обошлось. У Вольтера много влиятельных друзей, да теперь уже и нельзя было так бесцеремонно с ним обойтись, как несколько лет до того. Его уже знали за пределами Франции, он стал фигурой значительной, и с этим нельзя было не считаться. Однако в Париж Вольтер возвращаться опасается.

СИРЕЙ

Я встретил в 1733 г. одну юную даму. Она мыслила примерно так же, как и я, и мы решили удалиться в деревню, чтобы там вдали от шума света предаться деятельности ума. Это была госпожа Дюшатле.

Вольтер

Втяжелую для себя пору Вольтер неожиданно обрел родственную душу, подругу, доброго гения, который будет оберегать его мятежный творческий покой. Это была маркиза Дюшатле, одна из оригинальных женщин XVIII столетия.

На одном из вечеров у д'Эгберра маркиза, войдя в залу, увидела поразившего ее человека. Еще довольно молод, элегантен и удивительно худ. Глаза так умны, что, кажется, умнее и быть нельзя, «бархатные и нежности невыразимой». Улыбка лукавая, смех заразительный, лицо подвижное, меняющееся каждую минуту.

Около этого человека кружок гостей с видом самым увлеченным. Он что-то говорит, и, видимо, рассказ его занимает.

— Кто это?

— Как, вы не знаете? Это же Вольтер.

— Вольтер? Боже мой, я знаю его с детства.

Так состоялось их первое знакомство.

Вольтер впервые встретил женщину, которая самое высшее наслаждение находила в работе ума. Интенсивная деятельность интеллекта составляла для нее основное содержание жизни. Она могла часами говорить о философии, неистово спорить о математических формулах Ньютона, погружаться мыслью в исторические дали, пытаться разгадать логическую связь времен (строгий ум маркизы не мирился с сумбуром и хаосом исторических событий, противился идее «случайности» в истории), наблюдать в подозрную трубу небо, нисколько не пугаясь бесконечности миров. Она знала латынь, любила точные науки, особенно математику, переводила сочинения Ньютона, снабжая их алгебраическими комментариями.

Эмилия Дюшатле занималась и философией. В XVIII в. особенно много говорили о том, каким должно быть человеческое счастье. Раньше полагали (так, по

Маркиза
Дюшатле.
*С современной
гравюры.*



крайней мере, учила церковь), что человек должен бежать от счастья на земле. Г-жа Дюшатле написала «Трактат о счастье». И эта женщина, обладавшая строгим логическим мышлением и неистовым сердцем, одновременно деспотическая и нежная к тем, кого любила, и непреклонно холодная к тем, кого имела основание презирать или ненавидеть, обрела себе кумира в Вольтере. Отныне он ее мир, ее «всё».

Ей было двадцать восемь лет, когда она его встретила (ему — сорок). У нее была семья — двое детей и муж, несколько сумрачный, малообщительный, но довольно покладистый человек. Он предоставил жене полную свободу, не питая к ней особой страсти, не вмешивался в хозяйство и в дела жены, желая только одного, чтобы его избавили от каких бы то ни было забот и предоставили ему распоряжаться собой, как он хочет. Такие отношения между супругами в дворянских семьях Франции той поры были совсем не редкостью. Проявлять особую влюбленность в жену считалось даже признаком дурного тона. Влюблен-

ный супруг становился мишенью для насмешек. Вольтер сделал на эту тему одну из веселых своих комедий «Господин с Зеленого мыса» (она шла у нас одно время в Москве).

Портрет, написанный художницей Луар, рисует нам милое, очень женственное лицо с тонко очерченными бровями и живым взглядом. Маркиза Дюшатле и ее покладистый супруг исколотали у двора разрешение на жительство в их поместье Сирей г-на Аруэ де Вольтера.

Они дали министру хранителю печати торжественное обещание предостерегать его от всяких опрометчивых шагов и за это добились согласия министра не трогать его, оставить его в покое под их ответственность.

Дом в Сирее нужно было благоустроить. Как и большинство дворянских деревенских особняков, называвшихся замками, он давно уже не ремонтировался. Не во всех рамах были стекла, не во всех окнах были рамы, пришли в негодность печи, протекала крыша. Владельцам до этого не было дела, они жили в Париже, в деревню навещались редко. Обновление дома потребовало больших затрат. Вольтер от себя дал 40 тысяч ливров.

В конце концов устроились хорошо, с комфортом и даже с роскошью. Гостей, посещавших Сирей, приводили в восторг великолепные фарфоровые ванны. Была отстроена просторная терраса.

В доме были и сцена, и театральная зала. Декорациями служили ковры и гобелены, развешанные между колонн. Они же отделяли и сцены от кулис. Обитатели Сирея особенно нуждались в сцене. Пьесы, которые писал Вольтер, разучивали и ставили здесь же. Здесь же проходили и представления театра марионеток. Свои комнаты Вольтер обставил с особой роскошью. Он любил роскошь. Это была его слабость.

Обитатели Сирея жили дружно, весело. Маркиз (генерал-лейтенант) или отъезжал в армию, или рыскал по лесам, а если бывал дома, почти не давал о себе знать: говорил мало и к девяти часам уходил спать. Распорядок дня строго соблюдался: Вольтер и его ученая подруга не могли попусту тратить время.

В 10—11 часов утра собирались к завтраку. Ели немного и недолго. Обедали в четыре. Жизнь начиналась с ужина, с 9-ти часов, когда все собирались в столовой и проводили вместе весь вечер, до полуночи. Вот не-

сколько зарисовок, какие сделала одна гостившая в Сирее дама.

«Вчера за ужином Вольтер был восхитительно весел, он рассказывал истории, которые можно слушать только из его уст. Он рассказал анекдоты о Буало, их нигде не найдешь...»

«Вчера после ужина была очаровательная сцена: Вольтер дулся по случаю того, что госпожа не разрешила ему выпить стакан рейнского вина, он не захотел читать нам «Жанну» («Орлеанская девственница». — С. А.), как обещал, и был в самом дурном настроении. Вольтер и милый ребенок, и мудрый философ».

Так шла эта жизнь в Сирее, с мелкими происшестви-ями, мило-веселыми, мило-печальными, с небольшими разговорами, комично-серьезными ссорами и трогательными примирениями. Маркиза тиранически властвовала над волей своего друга, но любила его бесконечно, и его жизнь, его покой, его труд для нее были превыше всего. Иногда ездили в Париж, но всегда на короткое время. Много и плодотворно трудились. Между Вольтером и маркизой было нечто вроде соревнования. Иногда она работала всю ночь и наутро была настолько возбуждена, что для успокоения опускала руки в холодную воду. Только после такой процедуры она могла уснуть. Вольтер работал только днем. За это время написано очень много. Когда выходили в свет «опасные» его сочинения, Вольтер отъезжал за границу и выжидал. Маркиза и ее супруг в это время готовили почву для его возвращения.

Вольтер был счастлив. Его письма из Сирее друзьям полны внутренней сверкающей, трепетной радости.

Он вообще никогда не отчаивался и носил в себе постоянный, незатухающий огонь оптимизма. Но теперь было что-то большее, какое-то безотчетное ликование сердца. Иногда он даже спохватывался и, будто стыдился переполнявшего его довольства жизнью. «Странно, как это мы можем быть счастливыми вдали друг от друга», — писал он, будто извиняясь, своему приятелю Тирио.

В Сирее всегда гости, но они не нарушают заведенного порядка жизни. Атмосфера интенсивной духовной деятельности остается неизменной и немедленно захватывает всех вновь прибывших.

«ТРАКТАТ ПО МЕТАФИЗИКЕ»

Вагнер. Но мир! Но жизни! Ведь человек
дорос,
Чтоб знать ответ на все свои
загадки.

Фауст. Что значит знать? Вот, друг
мой, в чем вопрос.
На этот счет у нас не все в
порядке.
Немногих, проникавших в суть
вещей
И раскрывавших всем души
скрижали,
Сжигали на кострах и распивали.

Гёте. «Фауст»

Вольтер писал однажды из Сирея: «У нас сейчас маркиз Альгаротти, молодой человек, который знает языки и нравы всех народов, пишет стихи, как Ариосто, и изучает Локка и Ньютона. Он читает нам свои философские диалоги, я тоже подготовил здесь небольшой курс по метафизике. Нужно же отдать себе отчет о мире, в котором ты живешь. Читаем отдельные песни о юной «Девственнице», или какую-нибудь мою трагедию, или главу из «Века Людовика XIV». Потом возвращаемся к Локку и Ньютоу».

В наши дни метафизика понимается как философия, или мышление, чуждое диалектике, не учитывающее в явлениях единства и борьбы противоположностей. В дни Вольтера она означала размышления о вещах, стоящих над физикой, — о сущности мироздания, причинах его возникновения, душе, боге и прочем. Именно так понималась она и в трактате Вольтера. Церковь не жаловала тех, кто отваживался без ее помощи решать проблемы мироздания. И Вольтер свой «Трактат по метафизике» читал маркизе, заезжим гостям, но никогда не собирался его печатать. Впервые его опубликовал Бомарше уже после смерти Вольтера.

Мир очень изменился с той поры, когда в гостиной Сирея при свечах читали эту рукопись Вольтера. Теперь никто не стал бы угрожать автору за опасные мысли о боге и королевской власти. Время сняло многие вопросы, которых опасно сторонились осторожные люди. Эти вопросы волновали умы с очень давних времен, а для поко-

лений XVIII в. представляли первостепенную важность. Загадки, терзавшие научную мысль в самой высокой ее инстанции. «Трактат по метафизике» им и посвящен.

Вольтер верен себе. Ни тени тяжеловесного педантизма, ученого доктринерства. Все сложное, трудно доступное для понимания становится ясным как дважды два. Изящное просторечие, шутливый каламбур, увлекательная речь. О чем же? О том, есть ли бог. О трудности постижения сей гипотезы. О философии материализма. Об ощущениях, как источниках познания. О том, есть ли душа и может ли она быть бессмертной. О свободе воли человека, о социальном человеке. О добре и зле.

Прочитав насмешливый, озорной по форме и серьезный, глубокий по содержавшимся в нем мыслям «Трактат по метафизике», современник Вольтера ясно понимал, что автор если и допускает существование какого-то высшего разума, устроителя вселенной, то уж никак не верит в существование бога — христианского, магометанского или какого-другого, не верит в существование души и в ее бессмертие, а верит в разум, в способность материи мыслить, верит в ощущения, ибо они связывают разум с внешним миром, ибо они — двери, через которые проходят к нам вестники окружающих нас предметов. И при этом автор полон симпатии к тем, кто до него высказывал сомнения в догматах христианства. «Философы (которых окрестили неверующими и либертенами) во все времена были самые порядочные люди в мире... Бейль, Спиноза, Шефтбери, Коллинз и другие отличались самой возвышенной честностью».

Вольтер признается, что не может постичь, как столь совершенный в своей гармонии мир сложился сам собой, без вмешательства какой-то разумной силы. Но вместе с тем и идея бога — устроителя вселенной — вызывает миллион сомнений.

Когда бог создал мир? Почему не раньше? Из чего создал?

Из ничего? — Это немислимо. Из самого себя? Но тогда, что же он такое? Зачем он создал мир? Просто так, из прихоти? Но тогда, где же его бесконечная мудрость, ведь мудрец ничего не делает бесцельно?

Философа больше интересовали, конечно, вопросы бытия человеческого, иначе говоря, вопросы социальные и политические. Он рассуждает: «Король рассматривает

весь род человеческий как существа, созданные для того только, чтобы подчиняться ему или ему подобным. Молодой турок в тишине своего серала размышляет о том, что человек — высшее существо, обязанное по некоему закону спать со своими рабынями по пятницам, воображение его дальше этого не идет. Поп делит всю вселенную на монахов и мирян и, ничтоже сумняшеся, относит церковников к наиболее благородной части, призванной вести за собой других, и т. д. и т. д.

Может быть, постигли природу человека философы?

Думать так — значит жестоко ошибаться, ибо, кроме Гоббса, Локка, Бейля и еще небольшого числа мудрых голов, философы имеют о нем столь же ограниченные представления.

Спросите у Мальбранша, что такое человек, он вам скажет, что это субстанция, созданная по образу бога, значительно попорченная со времени первородного греха, однако более связанная с богом, чем с собственным телом, взирающая на мир глазами бога, мыслящая и чувствующая все по той же мерке бога.

Паскаль рассматривает весь мир как сборище злых и несчастных, созданных для того только, чтобы быть проклятыми. Среди них, однако, бог избрал за всю вечность несколько душ — одну на пять-шесть миллионов — и дал им спасение.

Резонеры наших дней хотели бы внушить нам химерический вздор о том, что человек от рождения лишен страстей, что он их приобретает, только выходя из подчинения богу; бог создал прекрасную статую, а жизнь в нее вдохнул дьявол...

Что же теперь делать? Детище дьявола, то есть человек, обуреваемый страстями, иначе говоря живой человек, ходит по земле, действует, творит, а детище бога — то есть безжизненная статуя — существует только в воображении мистиков. Что же лучше, гоняться за облаками или крепко держаться за твердь земную, искать ангелов и, конечно, не находить их, или строить все свои планы, исходя из той реальной истины, что землю населяют не ангелы, а, увы, грешные люди».

Взгляд Вольтера на человека был трезв, практичен, «приземлен», как трезва, практична была вся философская и политическая программа французских просветителей.

«СМЕРТЬ ЦЕЗАРЯ»

Когда же он увидел, что со всех сторон на него направлены обнаженные кинжалы, он накинул на голову тогу и левой рукой распустил ее складки ниже колен, чтобы пристойнее ушасть укрытым до пят; и так он был поражен двадцатью тремя ударами, только при первом испустив не крик даже, а стон, — хотя некоторые и передают, что бросившемуся на него Марку Бруту он сказал: «И ты, дитя мое?»

Гай Светоний Транквилл.
«Жизнь двенадцати цезарей»

Римский автор Светоний нарисовал здесь одну из самых драматических сцен мировой истории. Группа молодых республиканцев во главе с Брутом, отстаивая дело демократии и республиканских свобод, совершила убийство императора и полководца Цезаря, посягнувшего на эти свободы. Это произошло в 44 г. до нашей эры.

Всякая насильственная смерть трагична. Трагична была и смерть Юлия Цезаря. Но и он был виновником столь же трагичной смерти своего политического противника Помпея. Другой историк древности Плутарх так описал ее: «В тот момент, когда Помпей оперся на руку Филиппа, чтобы легче было подняться, Септимий сзади пронзил его мечом, а затем вытащили свои мечи Сальвий и Ахилла. Помпей обеими руками натянул на лицо тогу, ...он издал только стон и мужественно принял удары».

К чести Юлия Цезаря Плутарх добавил: «Немного спустя Цезарь прибыл в Египет... он отвернулся как от убийцы от того, кто принес ему голову Помпея, и, взяв кольцо Помпея, заплакал».

Имена Юлия Цезаря и Марка Брута для последующих поколений превратились в символы двух противоборствующих политических принципов — монархизма и республиканства. Странники королей осуждали Брута, республиканцы — Цезаря.

Римский император привлек к себе пронизательный взор Шекспира. Его трагедия «Юлий Цезарь» — образец глубочайшего политического мышления. Вслед за ним к этой теме обратился и Вольтер. Он написал трагедию «Смерть Цезаря», выдав ее за перевод из Шекспира.

Пьеса отнюдь, конечно, не была переводом. Вольтер воспользовался только некоторыми мотивами шекспировской трагедии, в остальном все принадлежало ему. Он сослался при этом на то, что всю трагедию перевести было нельзя (непереводима), что автор жил в варварское время и наполнил свою пьесу варварской грубостью, потому что он, Вольтер, должен был приспособить эту «чудовищную» пьесу к нравам и вкусам новых времен. Однако переделка шекспировской трагедии касалась, главным образом, ее политического аспекта.

На театральных подмостках, которые должны были являть собою мостовую древнего Рима, его форум, его Сенат, подвергались обсуждению политические проблемы Франции времен Вольтера, ее монархический, сословно-дворянский строй и вообще сам принцип абсолютизма. Это и узрел своим недремлющим оком некий аббат (Дефонтен) и в своем еженедельнике поставил политический вопрос: морально ли вообще изображать на сцене убийство монарха?

Вольтер почувал опасность и в письмах к знакомым, а их был легион, стал все сваливать на Шекспира, которого никто еще во Франции не знал и проверить, следовательно, Вольтера не мог.

«Конечно,— писал он,— пьеса не в наших нравах и не в наших правилах», иначе говоря, французы не могут убивать королей, что он, Вольтер, «не осмелится быть римлянином или англичанином в Париже». Понимать это надо как осуждение казни Цезаря в Риме и Карла I в Лондоне. «Это, как я уже вам писал, довольно точный перевод пьесы Шекспира». Переведенный «кусочек нов и интересен для литературного мира». Критик («журналист») «так и должен рассматривать трагедию», а именно как попытку автора «познакомить» французов с «гением английского театра». Все это для простаков. Вольтер взял из истории Рима как раз такой момент, который явился рубежом, разделяющим республику от монархии, момент, когда гибла республика и рождалась монархия. Тогда отчетливо и резко обозначились два политических принципа — республиканский и монархический. Нельзя было оставаться вне конфликта. Надо было прямо и недвусмысленно высказать свои «за» и «против».

На сцене парижского театра зазвучали голоса в защиту политической свободы, в осуждение культа госуда-

ря, абсолютизма, самодержавия. Речь шла о событиях далекой давности, но человеку свойственно всегда примерять историю к своим дням. Иначе говоря, сцена парижского театра превратилась в политический клуб, в своеобразный Конвент.

Дело было не в личности монарха. Он мог быть идеальным правителем. Юлий Цезарь, как его изобразил Вольтер,— отнюдь не чудовище, это человек с умом и сердцем. Но что в том? Он — узурпатор. Он отнял у народа свободу. Какими бы талантами он ни обладал, какими бы высокими целями ни руководствовался, он не должен был забирать в одни руки всю государственную власть, в одну голову все мысли мира, в одно сердце все свойственные людям чувства.

Каким бы он ни был, он не мог в себе одном собрать все человечество, он только часть его, пусть даже самая талантливая, но только часть.

Вольтеровский Брут, восстав против авторитета личности, именно это и доказывал. За Брутом, конечно, стояла фигура автора, но автор не хотел быть уличенным в соучастии со своим героем, он хитрил. В предисловии к печатному тексту пьесы (предисловие написано от третьего лица) говорится: «Многие находят, что в пьесе избыток жестокостей, они с ужасом смотрят на то, как Брут во имя любви к родине жертвует не только своим благодетелем, но и отцом. На это можно ответить только одно: таков характер Брута, а людей надо изображать такими, какие они есть».

Вольтер, который никогда особенно не заботился о верности характеров и больше думал о доходчивости своих идей, теперь рьяно стоял за портретное сходство. С чего бы это? Он с самым невинным видом убеждал в искренности своих намерений:

— Я только верный портретист, не более. Поступи я иначе, вы же сами осудили бы меня.

Его Брут не похож на мрачного заговорщика, вынашивающего в глубокой тайне суровый замысел. Он смел и честен. Взгляд его открыт и ясен. А ведь исторический Брут действовал несколько иначе и до поры до времени был достаточно осторожен. Его же Брут бросает в лицо Цезарю дерзкий вызов. Он не боится, не трепещет, он с презрением выговаривает все, что накипело в его сердце. И как умно говорит!

— В чем ты упрекаешь меня? — спрашивает его смущенный Цезарь.

— В том, что мир разграблен, что нация истекает кровью, что страна в разрухе. Твоя власть, даже твои достоинства становятся источником несправедливости, ведь они помогают тебе совершать зло. Твоя проклятая доброта заставляет людей любить твои оковы, благородство становится приманкой, чтобы обманывать мир.

Цезарь прибегает к последнему аргументу. Он раскрывает Бруту тайну его рождения. «Ты мой сын», — говорит он потрясенному юноше. Как же себя ведет теперь Брут? Может быть, он обрадован, ведь власть отца когда-нибудь перейдет к нему, да и без того быть сыном Цезаря, непобедимого, гениального (а этого не отрицает Брут), — само по себе очень лестно?

Но раскрытие тайны несколько не изменяет направления мыслей молодого героя, она только прибавляет ему новые страдания.

— Если ты отец, то исполни мою единственную просьбу.

— Говори, я сделаю все.

— Убей меня сейчас же или откажись от царства.

— О, дикий зверь, тигр на моей груди!

За Брутом — народ. Автор погрешил против исторической истины. Римский народ не требовал убийства Цезаря. И у Шекспира этого нет. У Вольтера же народ — активная сила. Он понуждает Брута действовать, он корит его за медлительность:

«Ты спишь, Брут, а Рим в оковах». «Нет, ты не Брут».

Трагедия «Смерть Цезаря» — самое резкое выступление Вольтера против деспотизма. Это, пожалуй, апогей его революционного радикализма. Здесь нет никаких уступок, никаких намеков на просвещенный абсолютизм. Вольтеровский Брут заявляет, что личные достоинства монарха превращаются в зло, ибо помогают закрепить деспотизм. А между тем на противопоставлении хороших и плохих монархов строится весь карточный домик теории просвещенного абсолютизма.

Была попытка в дни Вольтера поставить «Смерть Цезаря» на большой сцене. В 1743 г. «Комеди Франсез» начала было уже готовить пьесу к постановке. Вольтер воодушевился. Взоры его снова обратились к древнему Риму, и имя Цезаря зацестрело в его письмах. В Европе

тогда шла война за Австрийское наследство. Фридрих II, король прусский только что захватил Силезию. Вольтер, который давно состоял с ним в самой оживленной переписке, сравнивает его теперь с победителем при Фарсале. «Разве вы не имеете реальных прав на Силезию или по крайней мере на большую ее часть?» — бросал он риторический вопрос, чрезвычайно приятный Фридриху. Но, расточая изысканные комплименты, Вольтер все-таки укорял короля. К письму своему он приложил утонченно лукавые стихи. Привожу их в прозаическом переводе:

Великий государь, я очень люблю героев,
Когда они предаются
Сладостному времяпровождению...
Ведь тогда они отдыхают
И, значит, никому не приносят ущерба.
Я люблю Цезаря, его прекрасный ум,
Его таланты, достойные всех лавров мира...
Но восторг мой гаснет,
Как только он переходит Рубикон,
И я плачу, когда этот великий человек,
Чудесный поэт, чудесный оратор,
Все подчинив Риму,
Подчиняет себе и сам Рим...

«Смерть Цезаря» поставить не удалось. На пути Вольтера встала теперь уже новая фигура. Это был Проспер Кребийон, престарелый поэт, автор чудовищно жестоких трагедий и одновременно театральным цензор. Он запретил постановку трагедии «Смерть Цезаря». 11 июля из Парижа Вольтер сообщал невеселую для себя новость:

«Проскрипции подвергли не Цезаря, а меня», «Странное и горькое вознаграждение за мой тридцатилетний труд...» «Бруты, что преследуют меня, столь же глупы, сколь свирепы были те, что убили моего героя». Сравнение, заметим мы, не в пользу исторического Брута. Но Вольтер был осторожен в выражении своих политических симпатий даже в письмах к друзьям.

Хлопотать о пьесе осталась в Париже маркиза Дюшатель. Сам же Вольтер отправился за пределы Франции для свидания с Фридрихом II. Из Гааги он пишет Сидевиллю с явным расчетом быть услышанным в Версале: «Король прусский сам желает сыграть «Юлия Цезаря» в одной из своих загородных резиденций вместе с некоторыми из своих придворных».

Артистке Марии Дюмениль — она была в расцвете молодости и сил и недавно с блеском исполнила роль его Меропы — он писал о том же, о своей пьесе: «Господин Кребийон... полагает, что Брут не должен убивать Цезаря. Он, бесспорно, прав, ибо никому не должно никого убивать... Правда, Брут действовал из любви к родине и против тирана...» Он писал о том же и д'Аржанталю, но все было напрасно. Пьеса не пошла.

Позднее Вольтер снова обратится к Цезарю. Но теперь он уже будет решительно и недвусмысленно его осуждать. В своем «Философском словаре» он назовет его «расхитителем общественных богатств, купившим римлян на деньги самих же римлян», «тираном и отцом своей родины» («отец» в данном случае звучит тоже не без сарказма) и осудит потомков тех самых племен, которых когда-то подчинил себе этот завоеватель, он осудит их за рабское самоунижение. «Нет ни одного города во Франции, Испании, на берегах Рейна или на английском побережье, где бы простаки не хвастались тем, что у них побывал Цезарь. Горожане Дувра убеждены, что их замок построен Цезарем, парижане верят, что Шателе — одно из лучших его строений... каждая провинция спорит о той дате, когда впервые на ее территории раздался свист цезарианского кнута, спорят о том, какой дорогой прошел Цезарь, чтобы набросить им на шею петлю...

Удивляюсь,— заканчивает Вольтер свою статью,— как это до сих пор не объявили Цезаря святым».

В заключение добавим: в 1794 г. «приятельница» Вольтера Екатерина II запретила переводить его пьесу «Смерть Цезаря» на русский язык.

«СВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК»

Некто. Господин Вольтер, вы помирились с Богом?

Вольтер. Мы с ним кланяемся, но не разговариваем.

Из анекдотов о Вольтере

Только что с большим успехом прошла в театре трагедия Вольтера «Альзира». От похвал, восторгов зрителей автор был на седьмом небе. Но в конце года произошли самые неожиданные для него события. Его сати-

рическая шутка «Светский человек», которую он написал, нисколько не думая о последствиях и в сущности не придавая ей никакого значения, вызвала в Париже необыкновенный ажиотаж.

Враг Вольтера аббат Дефонтен показал стихи аббату Кутюрье, а тот был вхож к первому министру кардиналу Флери. В парижских гостинных заговорили о том, как негодует и грозитя кардинал Флери.

Сатирическая поэма состояла из нескольких десятков стихов и в наши дни показалась бы совершенно безобидной. Как и всюду у Вольтера (да только ли у него? Таков уж был век), здесь царил философия. Последняя сводилась к оправданию прогресса. Цивилизация лучше дикости — вот, в сущности, главный тезис маленького стихотворного экспромта.

Что цивилизация лучше дикости, что дворец лучше хижины — это открытие вряд ли могло показаться сенсационным для 25 тысяч дворянских семей Франции, понимавших, что такое роскошь. Да и служители церкви не отказывали себе в благах цивилизации. Сенсационным показалось другое, а именно непочтительный отзыв о райской жизни наших прародителей Адама и Евы и слишком вольное обращение с этими священными именами.

Вольтер в поэме, смеясь, спрашивал «доброго папашу и лакомку» Адама, что делал он в садах Эдема.

— Ласкал мадам Еву?

— Но она была грязна, со спутанными волосами, с длинными ногтями. Фи!

А как живет светский человек теперь? Он окружен комфортом и роскошью, в его распоряжении изысканный стол, тонкие вина, шелк и парча, картины и мрамор. И вы называете это «проклятым веком»?

Так, смеясь, издеваясь, философствовал Вольтер во славу прогресса. Он поделился поэтической новинкой со своими друзьями и многочисленными корреспондентами, а эти последние с широкой публикой. Словом, Париж заговорил о сатирической поэме Вольтера. «Я держу своих детей взаперти, — писал он Фридриху, — но иногда они выбегают на улицу. «Светский человек» оказался проворнее других».

Однако шутка грозила большими последствиями, и Вольтер бежал в Голландию. Маркиза тем временем бомбила своими письмами Париж. Герцогиню Ришелье она

просила дать понять министру хранителю печати, что «стыдно преследовать человека, которого так ценят иностранные принцы», она жаловалась на «придворных ханжей», ожесточающих, как ей казалось, первого министра кардинала Флери и канцлера Дагесо. С этими последними говорил Даржанталь, и через него они сообщали маркизе, что Вольтера нужно было бы арестовать и ранее, и, если это не было сделано, то только исключительно из уважения к дому маркиза Дюшатле, что теперь, однако, правительство будет вынуждено просить маркиза не оказывать гостеприимства автору кощунственных сочинений.

И Вольтер живет в Голландии под чужим именем тихо, ничем не выдавая себя, не встречаясь ни с кем. Все, вероятно, обошлось бы, но на его беду он повстречал там поэта и своего недруга Жан-Батиста Руссо. «А, мы скрываемся от властей!» — и последовал фейерверк скверных острот на тему о том, что Вольтер приехал в Голландию, чтобы учить ее жителей безбожию. Газеты немедленно подняли шум, и вся Европа узнала, где скрывается великий возмутитель спокойствия.

Страсти, однако, постепенно затихли. Осторожный и расчетливый Флери почел за лучшее не трогать знаменитость. Дагесо, министр хранитель печати, передал герцогу Ришелье, что никаких карательных санкций к поэту применено не будет. Маркиза подала сигнал отбоя. И Вольтер неохотно отправился в обратный путь. «Писатель должен жить в свободной стране».

Вольтер, видя, что его шутка была воспринята серьезно (о ней заговорили и философы), написал в том же 1736 г. две сатирико-философские поэмы «Защита Светского человека» и «Об образе жизни. Критикам Светского человека».

«Вчера, к моей досаде, мне пришлось оказаться за одним столом с неким святошей.

— О, я вижу по вашему лицу, что вы скоро будете отапливать собой кухню Люцифера, — заявил он мне.

— Это почему же?

— За ваши штучки. В одной рифмованной сказке вы говорите такое об Адаме и Еве! К тому же хвалите роскошь и сообщаете (о, святотатство!), что нашим блаженным праотцам в райских садах жилось не так уж сладко. Нет, мой сын, вашу музу поджарят. Это уж обязательно.

Святой отец при этом блаженно шурился, потягивая из бокала тончайшее вино.

— Позвольте, святой отец, что это вы пьете? Откуда это вино, этот нектар?

— От господ.

— Но над ним трудились люди. А этот кофе? Этот фарфор? Это высокой чеканки серебро? Все прошло через руки людей. Мой отец, не будьте простачком и не называйте нищету добродетелью».

Далее Вольтер заговорил уже серьезно о том, как нужно относиться к роскоши. Со времени христианства роскошь официально предавалась осуждению. Было немало правительственных распоряжений против роскоши. Полагали, что стремление к роскоши развращает людей и ведет государство к гибели.

Историки этим объясняли падение могущественной римской империи, Вольтер опровергал это. Он подходил к вопросу, конечно, с чисто буржуазных позиций. Вот прозаический перевод его стихотворных рассуждений: «В Англии, во Франции по сотням каналов течет богатство. Вкус к роскоши проник во все слои общества: бедняк живет за счет тщеславия богачей, и труд, оплаченный праздностью, открывает постепенно дорогу к изобилию».

Кельские издатели полного собрания сочинений Вольтера (Бомарше, Кондорсе) снабдили «Светского человека» нижеследующей ремаркой: «Всякое большое общество основано на праве собственности, оно не может процветать без того, чтобы отдельные личности, его составляющие, не увеличивали продукцию земли и ремесел, в равной мере и без того, чтобы они не рассчитывали на свободное пользование тем, что они приобрели. Без этого права люди могут обойтись лишь в том случае, если будут сведены к пользованию только предметами первой необходимости». Этот взгляд на вещи сохранился и в современной буржуазной мысли, полагающей, что залог прогресса — в праве собственности.

Жан-Жак Руссо смотрел на принцип собственности иначе: «Первый, кто, огородив клочок земли, осмелился сказать: «Эта земля принадлежит мне», и нашел людей, которые были настолько простодушны, чтобы поверить этому, был истинным основателем гражданского общества. Сколько преступлений, сколько войн, сколько бедствий и ужасов отвратил бы от человеческого рода тот, кто, вырвав

столбы и засыпав рвы, служившие границами, воскликнул бы, обращаясь к людям: «Берегитесь слушать этого обманщика! Вы погибли, если забудете, что плод принадлежит всем, а земля никому» («Об основах и причинах неравенства среди людей»).

Вольтер, осмеивая проповеди христианского аскетизма, смирения и самоограничения, насквозь лживые и лицемерные, не пытался, однако, затушевать нравственную порочность имущественного неравенства, как это делают в наши дни апологеты капитализма.

КАРТОЧНАЯ ИГРА У КОРОЛЕВЫ

В тот же самый вечер бабушка явилась в Версали, au jeu de la Reine¹.

А. С. Пушкин. «Пиковая дама»

В 1743 г. умер девяностолетний кардинал Флери, первый министр короля Людовика XV. Духовник короля, он с 1723 г., вскоре после смерти Филиппа Орлеанского, стал очень влиятельной политической фигурой во Франции. Просветитель и первый биограф Вольтера Кондорсе писал о кардинале: «Флери хотел бы запретить французам не только говорить, но и думать».

К Вольтеру престарелый политик относился, как испытанный царедворец к своим смертельным врагам, то есть мило улыбался при встрече и делал гадости за спиной. Он не хотел ссоры открытой. Для этого он был достаточно умен. (Компрометировать себя враждой с популярным человеком!)

Флери при случае даже рассказывал Вольтеру для его книги «Век Людовика XIV» пикантные анекдоты из жизни двора (кардинал был стар и многое видел на своем веку).

Ненавидя Вольтера, он внешне выглядел чуть ли не его покровителем. Те, кто знал кардинала лучше, и, конечно, сам Вольтер имели представление о цене этого «покровительства». Дважды Вольтер претендовал на академическое кресло, дважды предпочтение отдавалось самым

¹ Au jeu de la Reine (франц.) — на карточную игру у королевы.

ничтожным лицам. Дирижерской палочкой невидимо водил Флери.

Теперь Флери, не дожив нескольких месяцев до своего девяностолетнего юбилея, скончался. Вскоре еще одно «событие» возвестило для Вольтера наступление благоприятной погоды. У Людовика XV появилась новая фаворитка. И так как король был ленив и дела государства его несколько не интересовали, и часто важнейшие вопросы решались по разумению очередной королевской фаворитки, то его выбор этой очередной фаворитки был для двадцатичетырехмиллионного населения Франции, а иногда и для всей Европы, первостепенным событием.

Людовик XV случайно встретил супругу некоего Ленормана д'Этиоля, очаровательную, маленькую женщину (чтобы казаться выше, она придумала высокие каблуки), очень веселую и достаточно умную, чтобы тотчас же овладеть вниманием, а потом и волей короля. Мужу очаровательной Антуанетты было предложено на выбор — пожизненное заточение в Бастилии или доходное место. Он избрал последнее, и его жена под именем маркизы Помпадур стала официальной фавориткой Людовика XV.

Маркиза тотчас же вспомнила о своем знакомом господине де Вольтере, которого давно знала и талантами которого когда-то искренне восхищалась. Она не разделяла опасений церкви и епископов, осуждавших деизм Вольтера. Ее забавляла его веселость, а кроме наслаждений, она ничего не хотела знать в жизни. То, что некоторых вельмож шокировал дерзкий тон Вольтера, маркизе было даже приятно. Она (дочь лакея), командовавшая королем, в душе сама презирала зпать. Слишком много унижений ей пришлось испытать от знати до того, как племянник ее покровителя, а может быть, и фактического отца (поговаривали и об этом) Ленорман д'Этиоль своим именем прикрыл скудость ее рождения.

Герцог Ришелье, старый товарищ Вольтера по коллежу, оказался лицом, самым доверенным у маркизы Помпадур. Кроме того, д'Аржансон, второй приятель поэта по школьной скамье, получил незадолго до того назначение на пост министра иностранных дел. Словом, для Вольтера настала благоприятная пора.

В апреле 1746 г. он был избран членом Французской Академии наук. В том же году своим почетным членом его избрала и Российская Академия наук в Петербурге за

успешную пропаганду научных открытий Ньютона. К протоколу избрания приложил руку великий Ломоносов.

Версаль готовился к торжественной свадьбе дофина с инфантой Марией-Терезией. Вольтер был официально приглашен принять участие в торжествах. Надлежало написать соответствующие увесилительные дивертисменты. Поэт никогда не пренебрегал вниманием двора и на этот раз он, несмотря на недуги, прервал свои труды в Сирее и отправился в Париж. Здесь он получил официальный титул историографа Франции с окладом в 2 тысячи ливров и пост дворянина палаты (так назывались лица, ведавшие королевскими театрами и королевскими развлечениями).

В феврале 1745 г. в Версале была поставлена «Принцесса Наваррская» — опера-балет, которую поэт писал с некоторой долей иронии, как некое эфирное создание для развлечения людей, не утруждающих свой мозг мыслью. Комедия развлекла двор, а на голову ошеломленного автора посыпались неожиданные щедроты.

Что значила для Вольтера опера-балет, написанная к придворному празднеству? Безделка. Изящный пустячок, не более. Но в это время в Париже, на чердаке Латинского квартала, где жили бедняки, человек по имени Жан-Жак Руссо возлагал на нее самые большие свои надежды.

Он был уже не так юн (33 года), прожил жизнь, полную лишений, страданий, нравственных падений и высоких взлетов мысли и чувства. Этот человек с изящно очерченным профилем, лихорадочно горящими глазами, бледным лбом был еще никому не известен. Скоро он станет властителем дум целого поколения. Его бюст будет украшать тенистые аллеи парков, его имя будут произносить мечтательные девушки, среди них какая-нибудь Татьяна Ларина в «глуши забытого селенья» России. Его гневные строки, его терзающее сердце красноречие разбудят дремлющие умы. Он станет вровень с Вольтером, а может быть, и поднимется над ним, но пока он безвестный музыкант и поэт, прибывший недавно в Париж, без систематического образования, без дипломов, без знания обязательного тогда латинского языка, сын жепевского часовщика, недавний бродяга, нищий, а теперь смутно ощущавший в себе тот беспокойный недуг, который именуется талантом.

Герцог Ришелье порекомендовал Вольтеру Жан-Жака Руссо в качестве соавтора. Какими судьбами это имя до-

шло до ушей герцога, никто не знает. И вот Жан-Жак Руссо получает письмо, написанное рукой самого Вольтера: «Вы соединяете в себе, сударь, два таланта, которые до сих пор никогда не принадлежали одному лицу. Это заставляет меня особенно ценить вас. Мне жаль только, что предмет, ради которого должны быть использованы оба ваши таланта, не заслуживает того». Руссо читает это письмо как послание самой судьбы. Вот оно наконец то вожделенное нечто, широкое, безбрежное и ослепительное, что называется «славой!» Вольтер, Рамо и рядом с ним он, Жан-Жак Руссо! Бессонные ночи отданы труду. Руссо отдавал себя всего. Это была его «пробная работа», тот «chef-d'oeuvre», с какими выходили в люди средневековые мастера.

Он просит у Вольтера разрешение несколько изменить либретто — при этом высказывает в письме самые нежные, самые восторженные свои чувства к великому человеку: «Вот уже пятнадцать лет я работаю, чтобы быть достойным одного вашего взгляда».

Вольтер тронут, хотя подобных писем получал уже немало. Он пишет о своем сочинении со всей искренностью: «Я знаю, что все это очень ничтожно, что это недостойно мыслящего человека, желающего сделать что-то серьезное из такой безделицы». Руссо объят пламенем вдохновения. В своем увлечении он не замечает, как прав Вольтер, — тем более ужасным оказался для него финал его сотрудничества с прославленными людьми.

Наступил день представления. Руссо развернул Программу. В ней значилось только два имени — Вольтера и Рамо! О Руссо забыли. Устроители праздника не знали, кто он такой. Рамо и Вольтер не придали этому значения, как не придали значения они самому произведению.

Человек, живший в маленькой каморке на одном из бесчисленных чердаков Латинского квартала Парижа, взлетевший было мечтой до небес счастья, рвал Программу королевского праздника. Потом в «Исповеди», самой правдивой книге мира, он расскажет о своих чувствах в эту минуту. Огорчение было настолько сильное, что он заболел.

Вольтер же в это время, не зная, не предполагая, каких страданий стоила его молодому соавтору забывчивость устроителей праздника, не внесших его имя в Программу, улыбался, благодарил, кланялся придворной толпе и,

конечно, не удержался от колкой эпиграммы по поводу того, что «балаганный фарс» снискал ему благосклонность двора, почести и всякие блага, между тем как вещи по-настоящему дельные («Генриада», «Заира», «Альзира») не были замечены королем и породили сонм врагов.

В октябре двор всей праздной толпой царедворцев и многочисленной челяди прибыл в Фонтенбло. В этой пестрой толпе довольно рельефно выделялась сухопарая фигура «историографа» Франции и его верной подруги маркизы Дюшатле.

Увеселения королей не всегда веселы. И в Фонтенбло иногда коротали время за карточным столом. Маркиза Дюшатле имела честь сидеть за одним карточным столом с королевой. В первый же вечер она проиграла 400 луидоров, все свои наличные деньги (она полагала, что ей их хватит на весь срок пребывания в Фонтенбло). Вольтер из собственных средств ссудил маркизу еще двумястами, но и они немедленно уплыли из рук азартного игрока, каким оказалась всегда увлекающаяся маркиза.

За большие проценты были получены деньги в долг у кого-то из знакомых. Но все летело. В конце концов маркиза задолжала 80 000 франков¹.

— Остановитесь, мой друг, это уже безумие! — говорил Вольтер. Наконец он решил в качестве стороннего наблюдателя последить за игрой. Сидя рядом с маркизой, он сказал ей по-английски: «Разве вы не видите, что имете дело с жуликами». Фраза была услышана, понята и соответствующим образом расценена игроками. Вольтер побледнел. Перед ним предстал призрак Бастилии. Немедленно прошел карточный азарт и у маркизы. Потихоньку было приказано заложить карету и «историограф Франции» вместе со своей подругой, которая ради этого титула и вытасила его из мирного Сирея,— ночью покинули Фонтенбло как два заговорщика.

Путь держали в Со, к герцогине Дюмен. Здесь не станут искать, не захотят ссориться с хозяйкой дома. Герцогиня

¹ Трудно постичь, как складываются у поэтов сюжеты их произведений, однако вымысел всегда идет от реальных фактов. Пушкин, конечно, знал об этом эпизоде и перенес его на страницы повести «Пиковая дама» — и азарт маркизы Дюшатле, которая под пером Пушкина превратилась в русскую графиню, *venus moscovite*, и *jeu de la Reine* (карточная игра у королевы), и многие другие детали из быта французского двора времен Людовика XV.

Дюмен была супругой побочного сына Людовика XIV. Одно время герцога Дюмена даже прочили в короли. Так что это был своего рода «соперник» и «конкурент» Людовика XV. Двор в Со был как бы в оппозиции к официальному двору. Впрочем герцогиня Дюмен уже забыла о притязаниях своего застенчивого супруга на трон Франции и окружила себя артистическим миром, наслаждаясь искусством. К Вольтеру здесь была давняя симпатия.

Прибыли в Со глубокой ночью. Все уже собирались расходиться по своим комнатам, когда в залу вошли Вольтер и его подруга, — бледные, обеспокоенные, с блуждающими глазами, ожидая с минуты на минуту роковой погони.

Вольтер и маркиза остались в Со надолго, а потому повели здесь свой обычный образ жизни, то есть работали. Они появлялись в обществе только после 10 часов вечера. Маркиза потребовала самый большой стол для своих рукописей и целыми днями штудировала Ньютона. Вольтер тоже днем не показывался на глаза. Он побаивался погони, поэтому выбрал себе самый отдаленный уголок во дворце. Окна были завешены даже днем. Вольтер работал при свечах. За это время (чуть больше месяца) были написаны философские повести «Задиг» и «Видение Бабука».

К концу декабря все успокоилось. О словечке «жулики», очевидно, забыли приближенные королевы, и Вольтер вместе с маркизой осмелился показаться в Версале. Придворные ставили «Блудного сына». Роли были распределены среди самых высокопоставленных лиц. Маркиза Помпадур принимала в спектакле самое деятельное участие. Маленькая роль была дапа и самому автору.

Вольтер чувствовал себя неважно, но участие в увеселениях придворных принял и при этом написал мадригал, обращенный к Людовику XV и его фаворитке. Все было бы хорошо, если бы приближенные королевы и особенно четыре дочери короля (самые некрасивые и самые скучные девы во всем королевстве) не открыли глаза Людовику XV на то обстоятельство, касающееся его престижа, что неприлично ставить вместе и притом публично имя короля и имя его фаворитки. После долгих размышлений король согласился, что это действительно не совсем удобно.

Королю было лень гневаться, но он не хотел больше видеть Вольтера.

Маркиза Дюшатле наконец понял, что для ее милого философа лучше держаться подальше от королей.

Сам Вольтер о своей придворной жизни отзывался так: «...в 1744 и 1745 гг. я был придворным... это печальная правда. Я был таковым; я исправился в 1746 и раскаялся в 1747-м».

А еще раньше, находясь при дворе, писал Сидевиллю: «Пожалейте беднягу, который стал королевским шутком в 50 лет... Я мечусь между Парижем и Версалем, сочиняю стихи в портсезе, мне нужно восхвалять короля высоко-торжественно, супругу последнего принца утопченно, королевское семейство умирительно, ублажать весь двор и не вызвать раздражения в городе» (31 января 1745 г.).

«ЗАДИГ»

Попроси дедушку прочесть тебе «Задига»,
как он мне читал его в позапрошлом году.

Из письма семнадцатилетнего Анри
Бейля (Стендаля) к сестре

Мы не знаем, как разъяснял доктор Гапльон, житель Гренобля, аллегорический смысл вольтеровского «Задига» своему знаменитому внуку Стендалю, тогда еще пятнадцатилетнему Анри Бейлю, но знаем, что дед Стендаля обожал Вольтера и посетил его однажды в Фернее, Мекке всех вольнодумцев XVIII столетия.

«Задиг» — сказка. «Сказка — ложь, да в ней намек». Как известно, Николай I, августейший цензор Пушкина, зачеркнул эту фразу, и Пушкин не отдал сочинения в печать. Цари не любят намеков, поэты не терпят вмешательства в их творческие замыслы.

Сказкой «с намеком» была и вольтеровская повесть «Задиг». Он написал, ее, пожалуй, в самую счастливую пору своей жизни в Сирее, в окружении людей, которые его любили и которых он любил сам. Он назвал ее «восточной повестью» и сколько мог снабдил восточным колоритом. Этот «колорит» начинался с первой страницы, с «Посвятительного послания Саади (имя персидского поэта XIII в.— С. А.) султанше Шераа», иначе говоря, послание

Вольтера всесильной фаворитке Людовика XV маркизе Помпадур. Само «Послание» выдержано в стиле пышной риторики персидской поэзии (прельщение очей, мука сердец, свет разума!). Лесть Вольтера всегда полна иронии.

Повесть состоит из маленьких, в одну, две странички главок, в которых каждая строка включает важную для всего просветительского движения мысль. Молодежь времен Вольтера вкушала как сладостный пектар опасный в те годы смысл этих его строк.

Герой повести — юный Задиг. Он богат, следовательно (!), окружен друзьями. (Вольтер никак не может обойтись без иронии.) У него доброе сердце, приятное лицо, трезвый ум. «Следовательно», он должен быть счастливым. Увы! Именно потому, что он добр, умен, благороден, честен, — он несчастен, ибо в этом мире все наоборот. Безумный мир, в котором царят сумбур, хаос, нелепости и предрассудки.

Однако рассмотрим все нравственные и интеллектуальные достоинства Задига, как их описал Вольтер. Это очень важно. Здесь положительный герой Вольтера-просветителя, здесь программа духовных качеств идеальной личности, как она мыслилась вождю просветительского движения.

Задиг был человеком здравого ума, то есть был убежден, что год имеет 12 месяцев и солнце вращается вокруг своей оси. За это халдейские маги (имеются в виду, конечно, католические проповедники, как, впрочем, и служители всех вообще религиозных культов) объявили его врагом государства и безнравственным человеком.

Задиг получил хорошие задатки от природы. Эти задатки были развиты воспитанием. Для Вольтера и всех просветителей роль воспитания казалась наиважнейшей. Воспитание гражданина прежде всего, иначе говоря, человека, полезного обществу.

Задиг великодушен и благороден и, пожалуй, снисходителен. (Он понимает и часто прощает человеческие слабости.) Он не претендует на знание абсолютной истины и убежден, что «самолюбие — это шар, наполненный ветром, и лопается от малейшего укола булавкой». Он умеет сдерживать свои страсти и ничего не преувеличивает, то есть не впадает в крайности.

Задиг умен, но старается не показывать этого, ибо «кичиться умом — значит испортить лучшую минуту самого блестящего общества». Он обладает еще одним бесценным качеством — искренностью и естественностью поведения, предпочитая всегда «быть, а не казаться». Герой Вольтера, как и положено быть герою просветительской литературы, чужд мистике. «Я не люблю ничего сверхъестественного, люди и книги, говорящие о чудесах, мне всегда не нравились», — признается он. Наконец, он демократичен по всем своим общественным идеалам и готов видеть самые высокие достоинства в человеке, стоящем на самой низкой ступени социальной иерархии. («Жила когда-то песчинка, которая жаловалась, что она всего лишь безвестный атом в пустыне, но через несколько лет она превратилась в алмаз и теперь украшает корону индийского короля».)

Герой Вольтера, конечно, по-вольтеровски скептичен. Однажды жена Задига Азора стала порицать свою подругу:

— Она только что похоронила мужа и дала клятву не выходить замуж вторично... пока ручей не изменит своего русла.

— Это похвально, — сказал Задиг.

— Да. Но знаешь ли, что она делает сейчас?

— Что же?

— Отводит русло ручья.

— О женское непостоянство!

Задиг решил проверить верность своей супруги. Эксперимент кончился тем, что Азора чуть было не отрезала бритвой его нос, дабы излечить его друга от мнимой болезни. (История в духе сказок «Тысячи и одной ночи».)

Задиг стал философом и занялся наукой. («Нет ничего прекраснее как изучать книгу природы. Нет ничего прекраснее жизни философа».) Занятия философией научили его «видеть то, что не видели другие». Его глаза остры, а ум пронизателен. Но вскоре он узнал, что в этом безумном мире обладать умом и знаниями опасно.

Однажды у королевы пропала собачка.

— Не видали ли вы? — спросили у Задига слуги королевы.

— Маленькую сучку на коротких ножках?

— Да, да.

- Породы испанской ищейки?
- Да, да.
- Хромает на правую переднюю лапку?
- Да, да. Так где же она?
- Не знаю. Не видел.
- Да он смеется над нами!

И Задиг предстал перед судом. «Звезды справедливости! Бездны науки! Зеркала истины! (Это — судьи! Ирония Вольтера неисчерпаема.) Задиг рассказывает на суде о том, как по следам, оставленным собачкой, по малейшим, едва заметным приметам он воссоздал в воображении ее внешний облик. Перед нами первый набросок детективного жанра, и Задиг выглядит давним предком известного нам Шерлока Холмса.

Повесть Вольтера — в сущности серия новелл. С его героем случаются самые диковинные приключения. Вот он в компании богословов. Они жарко спорят. О чем же? В книге Зороастра, персидского божества, записан запрет употреблять в пищу грифонов. «Но грифонов нет на свете и никогда не существовало», — говорят одни. «Они существуют, раз есть запрет их не кушать», — возражают другие.

— К чему спор, — попытался образумить богословов Задиг, — если грифоны существуют, мы их не станем употреблять в пищу, исполняя предписания Зороастра, если их нет, мы волей-неволей не станем ими питаться. Значит в том и другом случае мы исполним волю бога.

— Он еретик! — вскричал самый старый и самый тупой из богословов. — На кол его! И бедному Задигу не повезло бы, не приходи к нему на выручку его друг Кадор. («Один друг лучше ста понов», — замечает при этом Вольтер.)

В другой раз Задиг оказался в еще большей опасности.

Прогуливаясь в саду с двумя друзьями и одной дамой, он начертал на глиняной дощечке мадригал в честь дамы. Затем, не считая себя хорошим поэтом, разбил дощечку и бросил в кусты. Некто злой и завистливый человек подобрал один черепок и отнес его королю. На черепке сохранилась только первая половина текста, и она содержала опасную крамолу:

*Романы злом
На троне утвердены,
И славу общему
Единственный противник*

Задиг, и его друзья, и даже дама были взяты под стражу. Задига не стали слушать (за него говорил черепок) и приговорили к казни. Собралась толпа, ей хотелось видеть, с каким настроением будет умирать этот молодой человек. Никто не огорчился, и только его родители были опечалены: им ничего не оставалось от имущества сына, все его состояние шло в казну и доносчику. (Вольтер сомневался даже в родительских чувствах людей, отуманенных корыстью.)

Между тем чудесным образом второй черепок оказался в руках короля, черепки сложили и увидели безобидные шуточные стихи о любви и ее опасностях:

*Великий злом земля потрясена
На троне утвердены, король то же смарает,
И славу общему любовью лишь украсит,
Единственный противник нам — она.*

Король простил и помиловал и автора стихов и его друзей.

Эпизод замечательный. Вольтер раскрыл метод своей собственной работы. Он не раз прибегал к нему в борьбе с церковью и монархическими порядками. Открыто идти на врагов было опасно, в их руках были полиция, тюрь-

мы, армия. Вольтер использовал прием «ошибок», «опечаток» и пр. Вместо слова «âme» (душа), самого частотного в речах христианских проповедников, можно, например, «ошибочно» вставить слово âne (осел) и смысл соответственно преобразится.

Сама метаморфоза приведенных стихов в повести Вольтера весьма многозначительна. Читателю бросалась мысль, что монарх «великим злом на троне утверждён», что он «благу общему единственный противник».

И вот Задиг министр. Вольтеру, конечно, понадобился этот пост, чтобы раскрыть свою политическую программу. Первое, что сделал его герой в роли министра — это утвердил силу закона. Перед законом все равны — и король и пастух. Если Задигу случалось привлекать граждан к суду, то «судил не он, а закон». Таким образом исключалось всякое своеволие судьи, а следовательно, и злоупотребление. Закон, по-мнению Задига — должен быть гуманным, то есть помогать гражданам, а не устрашать их. И еще одно качество отличало Задига-министра: он руководствовался принципом: «Лучше упустить виновного, чем осудить невиновного».

Однажды два человека предстали перед Задигом, оспаривая друг у друга право на отцовство.

— Чему вы будете учить вашего ребенка? — спросил у них Задиг.

— Я его научу искусству вести дискуссии, — сказал один, — всем приемам риторики, введу в курс астрологии, демонологии, объясню понятия субстанции и акциденции, абстрактного и конкретного, расскажу о монадах и предустановленной гармонии. (Вольтер издевается здесь над средневековыми схоластическими науками, которые и в его время еще калечили умы.)

— Я постараюсь воспитать его справедливым и достойным иметь друзей, — сказал второй.

И Задиг отдал ребенка второму.

Это была общая программа просветителей — воспитать гражданина, полезного члена общества.

В своих странствиях Задиг столкнулся в одном племени с жутким обычаем. «По смерти мужа, жены добровольно шли на костер и сжигали себя».

— Вы очень любили своего мужа? — спросил он у одной молодой вдовы, которая приготовилась к самосожжению.

— Я? Нисколько. Это было настоящее животное, ревнивец, невыносимый человек, но я решила сгореть вместе с ним на костре.

— Наверное, это очень приятно гореть живым? — спросил Задиг.

— Что вы! Это ужасно. Но нужно пройти через это. Я набожна, и моя репутация будет погублена, если я не решусь умереть. Все будут смеяться надо мной, — рассуждает дама.

— Уже тысячу лет, как жены сжигают себя. Кто осмелится отменить закон, столь древний, — говорят удивленному Задигу.

— Разум древнее, — отвечает Задиг.

Устами вольтеровского героя глаголят здесь все французские просветители. Им часто говорили поборники феодализма, что установленные когда-то привилегии для духовенства и дворянства приобрели силу «закона древяности», что на их стороне само время, что нельзя ломать и разрушать то, что веками стояло незыблемо. Просветители всему этому противопоставили принцип разумности и звали к ломке абсурдных предрассудков. Задиг добился отмены варварского обычая самосожжения, за это жрецы решили сжечь его самого. Оказывается он нанес ущерб их доходам: все драгоценности обреченных на смерть вдов переходили в собственность церкви. Вольтер бросал тяжкие обвинения всем церквям вообще и христианской церкви прежде всего.

После долгих странствий, приключений и злоключений Задиг повстречался с ангелом Иезрадом. Разговор их касается важных проблем. Они говорят о страстях человеческих. «О как они губительны! — заявляет Задиг.

— Но это ветры, которые наполняют паруса кораблей. Иногда они топят корабли, но без них нельзя двигаться вперед».

Задиг жалуется на всесильное зло, на весь мир, переполненный им.

— Жалкий смертный, не осуждай того, что следует обожать, — поучает его Иезрад.

— Но... — пытается возразить Задиг. Ангел не стал его слушать и, помахав крылышками, «улетел в десятые сферы».

Вольтер еще не нашел окончательного решения вопроса. Мир сам по себе прекрасен, прекрасен в своей основе

и человек. Много в мире зла, по много и доброго. Не уравновешивается ли зло добром? Повесть заканчивается этим вопросом. Но иногда и вопрос сам по себе важен и значителен, он будит мысль и будоражит сердце.

ФРИДРИХ II И БЕНЕДИКТ XIV

Всемирная история не знает второго короля, цели которого были бы так ничтожны!.. Преобразовать государство и стать во главе его — подобное честолюбие было чуждо Фридриху II.

К. Маркс

Однажды, разбирая очередную почту, Вольтер увидел пакет с гербовыми знаками прусского государства. Письмо пришло из Рейнсберга.

«Сударь, я не имею счастья знать вас лично, но мне хорошо известны ваши сочинения. Это — сокровища ума...» Столь лестные строки писал Фридрих, последний принц Пруссии. Воспитанный на лучших образцах французской литературы, он питал в душе высокие идеалы. Как показала жизнь, орел летал невысоко. Но в годы юности Фридрих горел порывами благородства.

Принца не любил отец, король Фридрих-Вильгельм. Отец никогда не держал в руках книги, гонялся по улицам Берлина за зазевавшимися горожанками, чтобы дать им пинка за «безделье», ругался и дрался, как ефрейтор.

Сын любил философствовать. Излюбленным словечком отца было — «Nicht rasonieren!» (не рассуждать!). Он считал своего сына «растяпой», «размазней», которому больше бы пристало место школьного учителя, чем королевский трон.

Сын единственное утешение свое видел в запятых изящными искусствами и мечтах о собственной литературной карьере. Напав на сочинения Вольтера, он пришел в неописуемый восторг. Так завязалась переписка. Польщенный Вольтер отвечал самыми любезными письмами, и эпитеты гиперболического свойства соревновались друг с другом в посланиях Фридриха и Вольтера.

Фридриха называли «Северным Соломоном», «Цезарем», «Марком Аврелием», Вольтера — «Французским Аполлоном». «Если когда-нибудь я прибуду во Фран-

цию, — писал Фридрих, — первое, что я спрошу: «Где господин Вольтер?» Ни король, ни двор, ни Париж, ни Версаль, ни женщины, ни развлечения — ничто не будет интересовать меня. Только вы».

Вольтер отвечал галантным языком XVIII в.: «Я грежу моим принцем». Впрочем, письма Вольтера и Фридриха состояли не только из одних галантных комплиментов. Ни Вольтер, ни его молодой друг не могли обойтись без философии. В своем первом письме во Францию (8 августа 1736 г.) Фридрих пишет о немецком философе Вольфе, изгнанном из университета в Галле за атеизм. Он посылает сочинение своего соотечественника. Вольтер благодарит за книжку, которая «делает честь разуму», и наставляет принца быть всегда в обществе философов — Ньютона, Лейбница, Бейля, Локка, «душ, столь возвышенных, просвещенных и честных».

Здесь же он пускается в пространные и опасные рассуждения о мироздании. «Мыши, живущие в маленьких порах огромного здания, не знают, вечно ли оно, кто его построил и зачем. Они лишь стараются сохранить свою жизнь, заселить свои норы и избегать зверей-разрушителей. Мы — мыши, и божественный архитектор, построивший вселенную, не сообщил, насколько я знаю, своего секрета никому из нас».

Фридрих выражает крайнее удивление по поводу того, что Франция так мало ценит своего гения, «которому бы мы своими руками построили алтари», что его, автора единственной во Франции эпической поэмы «Генриада», преследуют помы, что он живет в одиночестве.

В 1740 г. умер Вильгельм, отец Фридриха. Последний получил королевский скипетр и вместе с ним долгожданную личную свободу (отец держал его на положении узника). Парк Сирея был по этому случаю иллюминирован. Вольтер, скептик и хитрец, теперь с наивностью ребенка праздновал зарю просвещенной монархии.

Фридрих, уже король, писал по-прежнему дружески, чуть ли не по-приятельски. «Смотрите на меня, прошу вас, как на частного гражданина, философа, чуть-чуть скептического и верного друга. Ради бога, говорите со мной как с человеком и отбросьте все титулы, громкие имена и весь этот внешний декорум».

И Вольтер плачет от восторга. Наконец-то всходит заря свободы! «Заря, что предвещает земле такой яркий

день». Он пишет Фридриху стихами, он славит его, теперь уже со всей искренностью: «Вы самый достойный король, вы клянётесь мне покровительствовать искусствам и любить человечество!» И называет его не «Вашим Величеством», как требовал королевский сан, а «Вашим Человечеством».

Первой мыслью молодого короля (ему тогда минуло 28 лет) было пригласить французского поэта к себе, но только его, а никак не маркизу Дюшатле. (Фридрих не терпел женщин и особенно женщин умных. На этот счет в письмах Вольтера и его друзей есть немало насмешливых намеков.) Маркиза согласилась отпустить своего друга, но только на краткий визит, не долее. 11 сентября 1740 г. Фридрих и Вольтер встретились в замке Мойланд близ города Клева. Фридрих совершал поездку по своим гарнизонам, инспектируя войска, но дорогой подхватил лихорадку и принял Вольтера, лежа в своей солдатской походной постели. Вольтер подивился спартанской скудости обстановки.

Вечером оправившийся король пригласил его на ужин. Говорили о философии, о диалогах Платона, о бессмертии души. И тот и другой высказывали самые дерзкие сомнения в канонических догмах церкви. Фридрих уговаривал Вольтера остаться в Германии. Вольтер отказывался, ссылаясь на сердечные узы, связывающие его с Сиреем.

В 1743 г. Вольтер снова покидает свою «божественную Эмилию», чтобы в течение двух недель делить общество прусского короля в Бранденбурге и Потсдаме.

Французское правительство решило воспользоваться «дружбой» поэта с прусским королем и разведать кое-что, касающееся планов Фридриха в отношении Европы. В частности, министра Мирпуа очень интересовало, сможет ли Пруссия оказать поддержку Франции в борьбе против Австрии и Англии. Чтобы король был откровенен с Вольтером, придумали версию о том, что последний якобы подвергается преследованиям со стороны министра. Вольтер с мальчишеским лукавством поносил Мирпуа в своих письмах к Фридриху. Фридрих тотчас же разгадал маневр двух «дипломатов». Он восторженно принял Вольтера, устроил в его честь блестящие празднества, и пока тот упивался лаской короля и писал мадригалы в честь принцессы Ульрики, сестры его, — отправил французскому министру письма своего «дорогого» гостя, поро-

чащие этого самого министра. Расчет короля был прост: или Мирпуа должен прийти в бешенство от писем Вольтера, тогда последнему будет заказан въезд во Францию и он останется добровольным пленником Пруссии, или министр не рассердится, тогда налицо будет сговор, хитрость. Последнее подтвердилось.

Немецкие историки называют Фридриха «великим». Д'Аржансон отзывался о нем, как о «неудавшемся великом человеке». В этом отзыве много смысла. Из всех немецких королей Фридрих конечно был самым образованным и самым умным. В этом нет сомнения. Ум его блестящий, сверкающий, но и холодный, как свет бенгальских огней. Затевая войны, он с цинизмом признавался: «...готовность войск к немедленным боевым действиям, большой запас денежных сбережений и живость моего нрава, таковы были основания, по которым я объявил войну Марии-Терезии, королеве венгерской и богемской» — и далее: «Честолюбие, расчет, желание вызвать толки о себе одержали верх; и война была решена».

Фридрих II не питал никаких иллюзий в отношении своего характера и своих нравственных принципов. Однажды он заявил своим обомлевшим гостям во время ужина (среди присутствующих добрая половина состояла из верноподданных пруссаков): «Монархи в общем все мерзавцы. От них портятся и другие».

* * *

Бенедикт XIV¹ понял свою эпоху, он с достоинством отказался от слишком уже нелепых претензий римской курии.

Стендаль

В 1745 г. Вольтер послал в Рим к папе Бенедикту XIV свою трагедию, которую написал еще в 1740 г., «Магомет, или Фанатизм»¹.

Вольтер лукавил, как всегда. Трагедия изобличала последствия религиозного фанатизма и в сущности выступа-

¹ Трагедия впервые была поставлена в провинции, в Лилле и 9 августа 1742 г. в Париже. Через три представления ее сняли с постановки, по распоряжению властей (Парижского парламента). Снова допустили на сцену в 1751 г. В 1823 г. в годы Реставрации запретили.

ла против всех церквей и пророков. Но внешне она разоблачала лишь зло ислама.

Бенедикт XIV, 254-й папа, уроженец Болоньи, в миру Просперо Ламбертини, очень походил на пап из дома Медичи, любил искусства, писал сам, благоволил к художникам, довольно неодобрительно глядел на слезником усердных служителей церкви, фанатиков и маньяков, вел весьма светский образ жизни, что приводило в смущение его духовных слуг и очень нравилось философам. Мельхиор Гримм отозвался о нем как о самом «непогрешимом» из пап, словом, это был папа в духе скептического XVIII в. Римляне добродушно подсмеивались над его привычкой ходить с тростью.

Бенедикт XIV ответил Вольтеру любезным письмом, награждая его *apostolica benedizione* (апостолическим благословением), сообщая, что он прочитал *bellissima tragedia con tutto piacege* (прекраснейшую трагедию с большим удовольствием).

Вольтер был в восторге: он сумел перехитрить папу. Вечером в гостиной Сирея он рассказывал самые веселые анекдоты.

— Его святейшеству не были известны следующие строки автора Магомета: «Самый нелепый из всех деспотизмов, самый унижительный для человеческой природы, самый несообразный и самый зловредный — это деспотизм священников; а из всех жреческих владычеств самое преступное — это, без сомнения, владычество священников христианской церкви».

Папа прислал Вольтеру медаль со своим портретом. Пухлое со вздернутым носом лицо. Вид до смешного простодушный.

— Э, да он славный малый и, кажется, знает кое в чем толк, — смеялся Вольтер и друзьям писал, что медаль папы для него важнее двух епископств. Теперь ему не страшны были и козни врагов.

Все эти «милости», конечно, не упали с неба. Лукавый Вольтер принял для этого ряд мер. За него хлопотала, по его просьбе, некая мадемуазель Дютиль, приятельница аббата Толиньяка, а тот имел возможность говорить с самим папой. Хлопотал и второй аббат по имени Канийак, тоже входящий к папе. Хлопотали кардинал Аквавива и министр иностранных дел Франции школьный товарищ Вольтера маркиз д'Аржансон. Кое-что сделал для этого и сам

Вольтер: «Новое кокетство мое с папой: я прочитал его книги, составил из них небольшую выборку, переложил в стихи, и папа стал моим покровителем *in petto*» (в душе. — *C. A.*), — сообщал он д'Аржансону. *Beatissimo Padre* (блаженнейшему отцу) он написал изысканное, очень вольное письмо на языке его родной Болоньи.

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Спешите, мужественный Дидро и неустрашимый д'Аламбер, папасть на фанатиков и негодяев: опровергайте их глупое разглагольствование, их презренные софизмы, историческую ложь, противоречия, бесконечные нелепости...

Вольтер

На столе издателя Лебретона лежали только что полученные из Лондона, еще пахнувшие типографской краской четыре тома «универсального справочника наук и искусств». Автор их почтенный квакер Эфраим Чемберс сделал их двадцать лет назад. Публике настолько они приглянулись по вкусу, что книга выдерживала уже четвертое издание. Книгопродавцы получали изрядный барыш.

Лебретон решил перевести английские книжицы на язык Парижа. Первоначально за дело взялись два иностранца — англичанин и немец, но издатель работой их остался недоволен. Впрочем, недовольство это было деланным. Истинная причина заключалась в том, что математик и аббат, некий Гуа де Мальв, раскрыл книгопродавцу яркие и широкие перспективы издания оригинального справочника, более обширного, чем четырехтомная работа Чемберса.

Лебретон рвет договор с англичанином и немцем. Немец молча терпит произвол, англичанин подаст жалобу в Парижское Шателе (суд). Полномочия по изданию вручаются Гуа де Мальву. Тот и рад бы, но, подумав, отказался: «Не под силу!»

— Так, может быть, кто другой? Назовите!

— Что ж, пожалуй. Вот вам и имена: Дени Дидро, очень эрудированный господин. Кстати, он уже переводил



Дени Дидро. Гравюра Сент-Обена.

«Универсальный медицинский словарь» англичанина Джемса. В помощь ему можно будет взять господина д'Аламбера, математика и секретаря Академии наук. Так Дидро и д'Аламбер стали во главе самого удивительного в истории, самого значительного для XVIII в. памятника культуры человеческой. Они стали редакторами знаменитой «Энциклопедии».

Дидро делал все со страстью. Немедленно полетел письма во все концы страны. Монтескье из Бордо шлет отеческое благословение: он старше Дидро на 24 года и считает себя вправе говорить отечески с молодежью. Жан-Жак Руссо, еще не открывший себя, еще неизвестный, горит желанием сотрудничать. Бюффон, Мармонтель, Гольбах, Кондильяк, Мабли, Рейналь, Кондорсе, Гримм, Тюрго — сколько имен! — и все галантливы, все жаждут перемен в социальной и политической Франции и все воспитаны Вольтером, для всех он — «мэтр», учитель.

Спрошен, конечно, и Вольтер, и, конечно, он «за», конечно, согласен сотрудничать¹. Не менее редактора взволнован и он. «Это будет величайший памятник эпохи, гордость нации!»

Он поощряет, наставляет издателей, он учит диалектике борьбы. «Бросайте стрелы, не показывая рук». Важно, чтобы идея дошла до народа, все прочее в сторону.

Об «Энциклопедии» заговорили. Забеспокоились иезуиты, богословы Сорбонны. Их инвективы еще более подогрели интерес к изданию. А тут еще арест главного редактора. Дидро в 1749 г. препроводили в Венсенский замок за его философский трактат, объявленный разрушительным и нечестивым («Письмо о слепых в назидание зрячим»).

Идя на свидание к другу в Венсен, Жан-Жак Руссо, как молнией, озарен идеей написать сочинение о человеческой цивилизации. Вышедшее в следующем году, оно принесло автору неожиданную и повсеместную славу, отблеск которой упал опять же на «Энциклопедию», ни один том которой пока еще не вышел. Но все его ждут нетерпеливо.

И вот в 1751 г. появился первый, а вслед затем и второй тома. Вокруг них ажиотаж необыкновенный. Может быть, все бы пошло спокойнее, «академичнее», когда бы не волнения отцов-иезуитов и Сорбонны. Гнев их пал прежде всего на головы авторов богословских статей, аббатов Ивона, Морелле, Де-Прада.

Ивон бежал из Франции, Морелле посажен в Бастилию, Де-Прад, лишенный немедленно ученой степени, укрылся при дворе Фридриха II и пополнил собою компанию острословов на ужинах в Сан-Суси. А читатели неистовствовали: где купить «Энциклопедию»? Рвали ее друг у друга, читали, как самый увлекательный роман. Статьи отличались умом, знанием фактов истории и современности и блеском изложения. Такого еще никогда не было. Гигантский коллективный труд! Задачи определены в Предисловии, и они грандиозны: «Собрать знания, рассеянные по земле», «собрать их воедино», «изложить в строгой системе» — для современников («людей, с которыми мы живем») и потомков («людей, которые придут после нас», «для веков грядущих»), чтобы люди стали «об-

¹ Он написал для «Энциклопедии» 43 статьи.

Жан д'Аламбер.
Портрет Л. Токке.



разошлись, добрее и счастливее» — «тогда мы можем умереть спокойно с сознанием выполненного долга».

История издания «Энциклопедии» — история умственной жизни Франции XVIII столетия, история борьбы нового со старым, просвещения и мракобесия, добра со злом. Не все выдержали испытание. Утомленный борьбой отошел д'Аламбер, отказался сотрудничать Руссо. До конца остался Дидро. Около тысячи статей он написал лично. В 1765 г. он обнаружил, что Лебретон, хозяин издательства, тайно от него уродовал статьи, убирая все опасные мысли. Дидро бушевал и плакал от досады и обиды (он слишком поздно заметил).

Издание было закончено в 1772 г. Дидро остался по-прежнему нищим и жил на чердаке. Екатерина II была вынуждена помочь ему под предлогом покупки его библиотеки. Издатель Лебретон положил в карман значительную сумму чистого дохода.

В годы революции Екатерина II, напуганная событиями во Франции, размахом народного движения, писала Мельхиору Гримму, что когда-то Гельвеций и д'Аламбер

прямо заявили прусскому королю Фридриху II, что «Энциклопедия» имеет две цели: «Первая — уничтожить религию, вторая — монархию». Трудно сказать, насколько это сообщение верно: Гельвеций, автор двух знаменитых книг «Об уме» и «О человеке», — не писал для «Энциклопедии»; д'Аламбер, крупный математик, секретарь Академии наук, был одним из ее редакторов.

Просветители, — за исключением Жан-Жака Руссо, — не помышляли тогда еще о ликвидации монархии, а лишь хотели, по примеру Англии, ограничить полномочия короля. Вот как толковала «Энциклопедия» слово «монархия»:

«Государство, в котором высшая власть и все приданные ей права принадлежат одному лицу — королю, монарху или императору.

Монархия ограниченная — такое государство, в котором имеется три органа власти, друг друга дополняющие и друг друга контролирующие... Такова политическая система Англии, истоки ее кровавы (имеется в виду революция XVII в., свержение короля и его казнь. — С. А.), но при ней, к удивлению народов, уживаются и король и свобода».

Что касается религии, то в ней просветители видели прежде всего источник лжи, обмана, фанатизма и жестокостей, а в служителях культа — гонителей просвещения. Используя опыт Вольтера, своего учителя, авторы «Энциклопедии» в нападках на церковь обращались не к христианству, а к исламу и Магомету.

«...Святой пророк не умел ни читать, ни писать — отсюда ненависть первых мусульман ко всем видам знания, ненависть восприняли их последователи, это обеспечило религиозной лжи долгую жизнь.

Давно замечено, что влияние религии уменьшается по мере распространения философии... Я могу (статья «Сарацины или арабы», строки из которых здесь приводятся. — С. А.), — писал Дидро, — заранее предсказать, что чем больше будет мыслителей в Константинополе, тем меньше паломников получит Мекка».

Читатели «Энциклопедии», конечно, понимали, что речь идет не о мусульманах и Магомете, а о Христе и его служителях.

«Энциклопедия», выходявшая в течение двадцати пяти лет (1751—1780) и составившая библиотеку в 35 то-

мов, собравшая вокруг себя самую образованную и передовую часть французского общества, далеко распространила свое влияние и, конечно, сыграла огромную роль в подготовке революции 1789—1794 гг.

В ПРУССИИ

Что влекло его в Берлин? Зачем ему было променять свою независимость на свои права? Государя ему чужого, не имевшего никакого права его к тому принудить?

А. С. Пушкин

В 1749 г. неожиданно в полном расцвете сил умерла маркиза Дюшатле. Вольтер был неутешен. Когда обойдены были все дорожки сада, по которым ходила маркиза, осмотрен и запечатлен каждый кустик, к которому когда-то прикасалась ее рука, когда были уложены в дорожку вещи, книги, физические приборы,— только тогда вдруг неожиданно остро прорезала мозг страшная мысль: Куда ехать? Он перебирал в уме одну возможность за другой. Не уехать ли в Англию, к лорду Боллингброку? Но старик, по слухам, хворал. Будет ли он рад его приезду? Станислав Лещинский звал его к себе. Когда-то этот польский король получил корону из рук Карла XII. Но победа Петра изменила его судьбу. Пришлось удалиться из Польши.

Лещинский поселился в Лотарингии в качестве правителя этой маленькой страны. (После его смерти в 1766 г. она была присоединена к Франции.) Король был не глупый человек, образован, написал интересный политический трактат «Свободный голос». В Лотарингии его окружали умнейшие люди века, а в школе, которую он открыл для польской молодежи, оказалось немало полезных для Польши людей. К Вольтеру здесь было всегда благосклонное отношение. Но поэт не хотел жить там, где его «божественная Эмилия» повстречала Сен-Ламбера.

Этот офицер сыграл роковую роль в жизни двух великих людей Франции — Вольтера и позднее Жан-Жака Руссо. Великие мыслители и великие писатели, они были побеждены в капризном царстве женских сердец этим

элегантным красавцем, который к тому же был и поэтом, причем не без таланта и ума. Звал Вольтера и Фридрих II. «Какого рабства, какой невзгоды, каких перемен бояться вам в стране, где ценят вас так же, как на родине, и в доме друга, обладающего благородным сердцем». И Вольтер решился. Предварительно он побывал на аудиенции у Людовика XV и спросил разрешения на отъезд.

— Куда угодно... — ответил холодно король. Позднее он язвил: «Фридрих приобрел себе нового шута и, кажется, в своем духе».

* * *

В Потсдаме, в резиденции Фридриха, у недавно отстроенного дворца Сен-Суси, карета Вольтера была окружена придворной челядью. Министры стояли с подобострастными улыбками. В толпе передавалось имя Вольтера. Едва открылась дверца кареты, и король Пруссии уже обнимал желанного гостя. Милости, милости, как из рога изобилия, посыпались на голову французского поэта, покрытую пудренным париком моды времен Регентства. Ему был пожалован высший орден государства, вручен камергерский ключ и назначено ежегодное содержание в размере 24 тысяч ливров.

Король был доволен. На его ужинах, где царил вольный дух морального нигилизма и философского скепсиса, теперь присутствовал самый знаменитый человек Европы, самый тонкий насмешник, самый популярный писатель. Фридрих льстил себя мыслью, что центр европейской образованности переместился из Парижа и Лондона к нему в Потсдам, что современные Афины теперь уже не Париж или Лондон, а его Берлин, пока еще маленький городок с узкими улочками и островерхими крышами домов. Фридрих переманил к своему двору уже немало французов. За его столом оттачивал остроты Ламетри, и Фридрих гордо говорил, что имеет при своем дворе «штатного атеиста». Президентом Академии наук Фридрих назначил француза Мопертюи, математика и философа. Здесь же подвизался поэт Арно Бакуляр, который был, однако, немедленно удален, как только появилась звезда первой величины — Вольтер. На ужинах в Сан-Суси бывал итальянец Альгаротти, француз аббат де Прад, рассорившийся с Сорбонной (Фридрих называл его своим «маленьким от-



Фридрих II.
Портрет работы
Августа Сандоса.

лучешником»), немец и секретарь короля барон Полниц — предмет насмешек своего государя.

В Берлине Вольтер работал над книгой «Век Людовика XIV». Это было грандиозное предприятие. «Не только жизнь Людовика XIV», «не действия одного человека, а дух века» — вот объект изображения. Всесторонне, впервые в исторической науке, он осветил жизнь всего общества, его эконо-

номическое состояние, политику, культуру. В сущности Вольтер хотел прославить и свой народ и свою родину, показать блестящую эпоху в ее истории, как она из состояния варварства, дикости нравов выросла до высот цивилизации, до роли культурной наставницы Европы.

Раскрывая книгу сейчас, дивисься широте охвата. Это действительно картина века, картина жизни Франции и в какой-то степени всей Европы. Стиль лаконичен до предела, достигая иногда афористической емкости. Портреты выразительны. Например: **Карл I** король английский «слишком упрямый, чтобы отказаться от своих затей, и слишком слабый, чтобы их доводить до конца, хороший муж, добрый отец, порядочный человек, но бессильный перед дурными влияниями, развязал гражданскую войну, потерял трон и на эшафоте голову».

Кромвель. «Поработил Англию с евангелием в одной руке и со шпагой в другой, с набожной маской на лице. Достоинствами великого правителя прикрыл преступления узурпатора» и т. д.

Книга полна антимонархических, эгалитарных выпадов. Вот фразы, взятые с ее страниц: «Ужас перед тира-

нией их вооружил»; «Свобода вдохнула в них смелость»; «Едва успев освободиться от своих господ, они учредили такой образ правления, который сохраняет, насколько это возможно, равенство — наиболее естественное из человеческих прав».

Вольтер не надеялся опубликовать книгу во Франции и даже писать ее считал более удобным где-нибудь за ее пределами. «Предмет столь деликатен, что касаться его можно только находясь в удалении. История требует истины столь свободной, что писать о Франции можно только вне Франции».

* * *

Идеальный образ просвещенного государя, который Вольтер в своей мечте создал из личности Фридриха, очень потускнел при близком рассмотрении.

На глазах Вольтера дикие расправы над солдатами совершались прямо на дворцовой площади, перед окнами королевского жилища. Страна погрязала в мрачном средневековье. Философский скептицизм короля не шел дальше дверей его кабинета. О просвещенном гуманизме в делах государственных не могло быть и речи. Воодушевление Вольтера прошло. Нет, это был не тот король, которого можно было бы назвать «Ваше Человечество!».

Фридрих тоже порядком поостыл к своему «камергеру». Последний затеял какие-то дела с саксонским банком (Вольтер не упускал случая приумножить свои богатства). А тут еще ростовщик Гирш, привлеченный Вольтером в качестве финансового посредника, надул своего патрона. Начался процесс. «Плут хочет переплутовать плута», — смеялся Фридрих.

В делах денежных Вольтер неукоснительно следовал традициям купеческого рода Аруэ. Юный Лессинг, гениальный бедняк, тогда еще никому неведомый в мире, ради заработка исполнявший какие-то канцелярские поручения Вольтера, смотрел на него широко открытыми от удивления глазами. Для него, будущего просветителя Германии, Вольтер навсегда утратил свое обаяние.

Лессинг — спартанец по духу и образу жизни — не мирился со слабостями великих людей. Фридрих II был терпим. «Вы были бы совершенством, — писал он однажды Вольтеру, — если бы не были человеком».

Ссора между Вольтером и прусским королем произошла из-за Мопертюи, французца, человека известного на своей родине и во всем мире, совершившего путешествие к северу Лапландии, блестящего автора, но довольно мелочного человека. Мопертюи был президентом Берлинской академии наук и вполне устраивал Фридриха.

Ученый немец, математик Кениг усомнился в некоторых научных выводах Мопертюи. Началась дискуссия. Мопертюи, раздосадованный, прибег к авторитету короля. Тот принял его сторону. Кениг в смущении отступил, но вмешался Вольтер.

Появилась в печати маленькая, но убийственная книжечка «Диатриба доктора Акакия, папского лекаря». В образе доктора Акакия предстал в самом милом простодушии президент Берлинской академии. Эразм Роттердамский, написавший «Похвалу глупости», не мог бы сделать лучшего портрета. Книжечка, конечно, немедленно разнеслась по свету. Фридрих II не хотел такой широкой огласки своих домашних дел (президент Академии был чиновником прусского государства). И памфлет Вольтера был брошен в костер перед его окнами.

Вольтер понял, что нужно подбру-поздорову убираться из столицы «просвещенного государя». Орден и камергерский ключ были возвращены обратно, конечно, вместе с галантными стихами. Недавний камергер берлинского королевского двора держал путь в сторону Франции.

Во Франкфурте-на-Майне его ждала племянница г-жа Дени. Здесь же ждали его и самые неожиданные неприятности. Полицейский комиссар потребовал рукописи короля, стихи и эпиграммы, среди которых было немало очень обидных для Людовика XV и других венценосных особ Европы.

Рукописи были в багаже, а багаж отправлен в Гамбург. Пришлось в течение месяца ждать прибытия багажа. Вольтер был на положении пленника. Наконец поэтические упражнения короля были возвращены. Больной, перестрадавший всеми страхами Вольтер пересек, наконец, границу Прусского государства.

Биографы Вольтера иногда несколько драматизируют этот эпизод. Философ не был безвиновен и эпиграммы Фридриха II прихватил с собой не по простоте. Борьба с королями требовала и мужества.

ФЕРНЕЙ

И снова перед Вольтером встала мучительная мысль: куда ехать? Его никто не ждал. Его нигде не хотели видеть. Его не хотел видеть Людовик XV, который не без злорадства узнал о распри между Вольтером и Фридрихом II (он ненавидел того и другого).

О возвращении в Париж не могло быть, следовательно, и речи. Положение осложнилось еще тем, что «Орлеанская девственница», неизвестно какими путями попавшая в свет, начала в списках гулять по рукам. Вот, вот надо было ожидать ее в печати. И тогда — конец. Церковь не простит.

Маленький городок Кольмар, где задержался философ, показался ему переполненным ханжами. «Здесь все молятся и все враждуют». На некоторое время он укрылся в аббатстве Сенона, где была хорошая библиотека. Монахи-бенедиктинцы, которых лукавый писатель заверил, что работает над священной историей, с усердием выполняли его заказы библиографического характера, подыскивали книги, ссылки, цитаты. Вольтер писал «Опыт о нравах».

Весной выехал в Пломбьер. Там ждали его обе племянницы и супруги д'Аржанталь, его давние друзья, его «ангелы-хранители». Потом снова Кольмар, далее Верхний Эльзас, Франш-Конте, Дижон, Бургундия и 15 ноября — Лион. Здесь ставилась его пьеса. Публика восторженно приветствовала автора, но власти города отнеслись к писателю холодно, почти враждебно.

Писатель начал с некоторой надеждой поглядывать на республиканскую Швейцарию. В ночь на 13 декабря 1754 г. его карета остановилась у городских ворот Женевы. Ворота были закрыты.

Постучали. Сообщили страже имя странника, что просит ночлега у города, и кованые ворота со скрежетом раздвинулись, впустили карету с дремлющими пассажирами.

Несколько дней Вольтер отдыхал в гостинице. И потом в замке Пранген разместился уже на «зимовку». Его секретарю, итальянцу Коллини, замок показался мрачным. Вольтеру — раем. Вольтер здесь с увлечением работал и тешил себя иллюзией, что находится в стране свобод. Ему было шестьдесят лет, он торопился исполнить свои творческие планы, как торопился всю жизнь, — всегда в творче-

ском волнении, беспокойном движении ума, сердечных тревогах за судьбы человеческие.

Здесь в Швейцарии Вольтер решил остановиться навсегда. Прочь скитания! Прочь общество королей! Он хочет быть свободным, чтобы мыслить и писать. Хочет купить дом в Женеве. Ему отказано — он католик. В Швейцарской республике только кальвинисты имели право на недвижимое имущество. Закон обойден. Дом куплен на имя подставного лица, швейцарского гражданина Троншена. Имение названо «Делис» («Отрада»).

Первая забота нового владельца — устроить у себя в доме театральное представление.

В Женеве — театры под строгим запретом. Еще в XVI столетии фанатик Жап Кальвин объявил их рассадником разврата. С тех пор городские власти неусыпно следили за тем, чтобы ни одна заезжая группа актеров не попадала в город.

Вольтер полагал, что стоит ему показать женевцам два-три стоящих театральные представления и мудрость восторжествует, женевцы откажутся от фанатической нетерпимости и станут цивилизованными людьми.

В своем домашнем театре он дает «Заиру». Сам выступает в роли Люзиньяна. Играет чуть-чуть «завышенно», чуть-чуть театрально, как играли в Бургундском отеле во времена Корнеля.

Его секретарь Вашьер рассказывает, что однажды, исполняя Люзиньяна, он так вошел в роль, что разрыдался и забыл слова. Суфлер молчал. Он плакал тоже. (Тогда люди были сентиментальны.) Свои стихи он запоминал с трудом. Это заметил его секретарь. Респектабельные буржуа города зачастили на вечера к Вольтеру. К тому же здесь выступали иногда прославленные актеры. Играл великий Лекен, приехавший к Вольтеру из Парижа.

Пасторы забеспокоились. От театральные представлений новоявленного женевца исходил острый душок религиозного нигилизма. В церквах стали угрожать нечестивцу гневом господним. До господ было высоко, но до злых проповедников — рукой подать. Вольтер очень хорошо знал историю, знал о том, что некогда на одной из площадей Женевы был сожжен на медленном огне Михаил Сервет, поэтому он отказался от театральные зрелищ, лишь изредка позволяя их себе, но тайно и для очень узкого круга.

Не было покоя Вольтеру и у берегов Женевского озера. И здесь ждали его разочарования. Ссора с женевскими пасторами возникла из-за двух слов, которые «перепутал» наборщик книги Вольтера «Всеобщая история». По-французски эти два слова звучали почти одинаково: атросе — austère, но смысл их был различен: атросе значит «жестокый», «свирепый», austère — «строгий», «суровый».

Речь шла об основоположнике женевского протестантизма Жане Кальвине. Вольтер обмолвился в статье, что у Кальвина была «суровая душа». Наборщик поставил «сви-репая душа». Тщетно автор протестовал, тщетно уговаривал женевские власти, клялся и божился в своей невинности и проклинал нерасторопность и невнимательность наборщиков. Ему никто не верил. Слово было впечатано, припечатано к имени Жана Кальвина. Он так и остался с «душой свирепой». Пасторы бесновались, а Вольтер тихо хихикал у себя в кабинете.

Ненависть к писателю в стане женевских проповедников назревала. Надо было думать о надежном укрытии, и Вольтер, накопивший в этой области некоторый опыт, стал разыскивать укромное и безопасное местечко на земле, откуда можно было бросать ядра в сторону врага и оставаться неуязвимым. Деньги, которые Вольтер, как прямой и верный отпрыск купцов Аруэ, сколотил путем финансовых операций, теперь строили ему крепостные стены. Впрочем, крепостные стены, бойницы и даже войско ему не помогли бы. Нужна была хитрая система защиты.

И эту систему он создал, используя свое богатство. Куплены имения во Франции, два дома у самой границы, и два в Швейцарии. Расчет был таков, если правительство Франции предпримет какие-либо демарши против него — он в Швейцарии. Отсиживается, выжидает, ведет дипломатическую игру. А если вздумают женевцы применить к нему враждебные меры, тогда он — во Франции, у самой границы, близко, но недосыгаем.

Зачем ему четыре дома сразу? На всякий случай. Его ищут в одном, а он тайком перебрался в другой. «Левый фланг мой упирается в гору Юры, правый в Альпы, Женевское озеро — перед моим лагерем. Прекрасный замок у границ Франции, отшельничество Отрады в Женеве, добрый дом в Лозанне — крепостной вал идет от одной берлоги к другой, и я спасаюсь от королей и войск», — так он писал о своей оборонительной системе,

Замок Ферней куплен у президента де Бросса. Переписка, состоявшаяся по поводу этой покупки, — самая интересная из всех деловых корреспонденций, существовавших когда-либо. Об этом великолепно рассказал Пушкин, которому благоговейно передаю перо:

«Хотите ли продать мне землю вашу пожизненно? Я стар и хвор. Я знаю, что дело это для меня невыгодно; но вам оно будет полезно, а мне приятно — и вот условия, которые вздумалось мне повергнуть вашему благоусмотрению.

Обязуюсь из материалов вашего прегадкого замка выстроить хорошенький домик. Думаю на то употребить 25 000 ливров. Другие 25 000 ливров заплачу вам чистыми деньгами.

Все, чем украшу землю, весь скот, все земледельческие орудия, коими снабжу хозяйство, будут вам принадлежать, если умру, не успев выстроить дом, то у вас останутся в руках 25 000 ливров, и вы достроите его, коли вам будет угодно. Но я постараюсь прожить еще два года, и тогда вы будете даром иметь очень порядочный домик.

Сверх сего обязуюсь прожить не более четырех или пяти лет.

Взамен сих честных предложений, требую вступить в полное владение вашим движимым и недвижимым имуществом, правами, лесом, скотом и даже каноником, до самого того времени, как он меня похоронит. Если этот забавный торг покажется вам выгодным, то вы одним словом можете утвердить его не на шутку. Жизнь слишком коротка: дела не должны длиться.

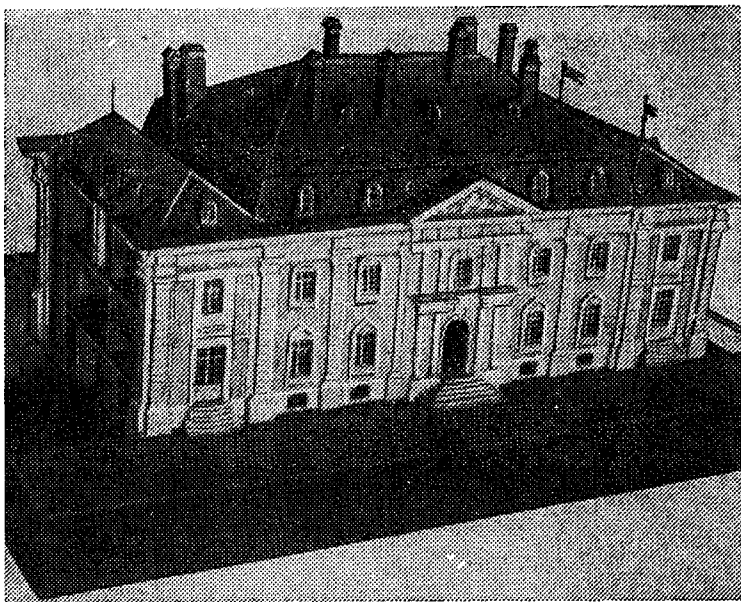
Прибавлю еще слово. Я украсил свою норку, прозванную *les Délices*; я украсил дом в Лозанне; то и другое теперь стоит, вдвое противу прежней их цены; то же сделаю и с вашей землей. В теперешнем ее положении вы никогда ее с рук не сбудете.

Во всяком случае прошу вас сохранить все это в тайне, и честь имею» и проч.

Де Бросс не замедлил своим ответом. Письмо его, как и Вольтерово, исполнено ума и веселости.

«Если бы я был в вашем соседстве (пишет он) в то время, как вы поселились так близко к городу¹, то, восхи-

¹ Вольтер в 1755 г. купил *les Délices sur St. Jean* близ самой Женевы (*прим.* Пушкина).



Дом Вольтера в Фернее. Макет. Эрмитаж. Ленинград.

щаяся вместе с вами физической красотой берегов вашего озера, я бы имел честь шепнуть вам на ухо, что нравственный характер жителей требовал, чтобы вы поселились во Франции, по двум важным причинам: во-первых, потому что надобно жить у себя дома, во-вторых, потому что не надобно жить у чужих. Вы не можете вообразить, до какой степени эта республика заставляет меня любить монархи... Я бы вам и тогда предложил свой замок, если б он был вас достоин; но замок мой не имеет даже чести быть древностию; это просто ветошь. Вы вздумали возвратить ему юность, как Мемнону: я очень одобряю ваше предложение. Вы не знаете, может быть, что г. д'Аржанталь имел для вас то же намерение.— Приступим к делу».

Тут де Бросс разбирает одно за другим все условия, предлагаемые Вольтером; с иными соглашается, другим противоречит, обнаруживая сметливость и топкость, которых Вольтер от президента, кажется, не ожидал. Это подстрекнуло его самолюбие. Он начал хитрить; переписка завязалась живее. 15 декабря купчая была совершена».

Итак, Вольтер обосновался в Ферне. Ему 64 года. Закончились годы скитаний. Теперь он у себя дома, почти в безопасности, почти, как маленький сюзерен, правитель крошечного государства. Иногда он совершает осмотр своих владений, сидя в карете вместе со своей племянницей г-жей Дени.

Потерпев неудачу с идеей просвещенной монархии, узнав на собственном опыте превратности монарших ласк, он тайне хочет осуществить ее у себя дома. Несколько сот часовщиков поселились в окрестностях Ферне. Вольтер рассылает письма ко всем государям, дабы обеспечить часовщикам сбыт продукции. Эти письма подобны дипломатическим нотам. Он строит в Ферне церковь. Он — противник церкви! На фронтоне латинская надпись — «Богу построил Вольтер». Он не верит в христианского бога, но стоит кому-нибудь из гостей во время обеда бросить нечестивый намек, как он немедленно отправляет из столовой слуг: «Вы хотите, чтобы сегодня ночью мой лакей убил меня?»

Вольтер хочет оставить бога для народа, как нравственную узду. Он немножко побаивается за свои владения. В выстроенной им церкви он выступает с проповедями против кражи. Он, Вольтер, на церковной кафедре!

Слух об этом доходит до ушей местного архиепископа. Тот лишает его права на отпущение грехов. Кара страшная по тем временам. Тогда без такого «отпущения» человека не хоронили. Вольтер сказывается больным и, проведя две недели в постели, просит местного попа исповедовать его и отпустить ему грехи.

Поп, не слышавший об архиепископском запрете, отпускает грехи.

— Соблаговолите, ваше преподобие, дать мне отпущение в письменной форме.

— Что ж, извольте.

И записку попа торжествующий Вольтер шлет архиепископу.

«Я прыгаю и режусь на краю могилы», — писал Вольтер друзьям, рассказывая о своей проделке с архиепископом.

Готовясь к смерти (он умирал всю жизнь), Вольтер заранее заготовил себе усыпальницу, частью она входила в церковь, частью оставалась на кладбище, прилегающем

к церкви. Он построил и театральную залу. «Ну вот,— говорил он,— теперь я всем угодил, для ханжей у меня есть церковь, для порядочных людей — театр».

«РОССИЯ ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ»

Самый факт преобразования Московии в Россию был возможен благодаря ее превращению из полуазиатского континентального государства в наиболее могущественную державу на Балтике.

К. Маркс

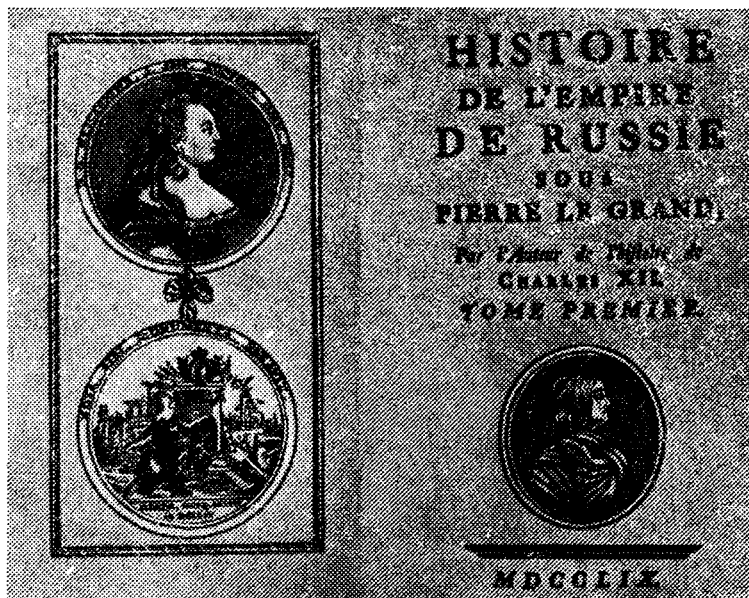
В 1757 г. Елизавета, российская императрица, поручила Вольтеру написать историю ее прославленного отца. Имя французского философа хорошо было известно русскому двору, ведь половину своей книги «История Карла XII» он посвятил Петру. Было спрошено мнение Ломоносова, который ответил, что «к сему делу, по правде, господина Вольтера никто не может быть способнее».

Впрочем, инициатива шла от самого Вольтера. Он давно собирал материалы к истории Петра. В 1737 г. он через Фридриха, тогда еще наследного принца прусского, просил сведений о России у Воккеродта, прусского подданного, проведенного в ней 18 лет, причем 10 из них в годы правления Петра.

Фридрих никак не сочувствовал интересу Вольтера. Отзывы его дышат ненавистью и злобой. «Я не стану читать историю этих варваров, я хотел бы даже вовсе не знать о том, что они населяют наше полушарие». Вольтер, однако, шел своим путем.

Д'Аржансон, школьный товарищ Вольтера, став министром иностранных дел Франции и желая завязать более дружественные связи с Россией, обратился к автору «Истории Карла XII», где Петру было уделено столько добрых строк, и просил его написать что-либо дочери Петра, царствовавшей тогда Елизавете.

Вольтер немедленно послал ей свою «Геприаду», славя ее стихами как «Северную Семирамиду». («Небо дало мне жить в эти славные времена, когда трон России заняла Северная Семирамида») Французского посла в Петербурге Вольтер просил передать «Геприаду» Елизавете, а Рос-



Первое издание книги Вольтера «История Российской империи при Петре Великом» (1759). Фронтиспис и титульный лист первого тома.

сийской академии наук «Философию Ньютона». «Я уже имею честь быть членом Академий Лондона, Эдинбурга, Берлина, Болоньи, я хотел бы удостоиться той же чести и в Петербурге», — писал он послу.

Вольтер просил разрешения приехать в Россию, чтобы поработать в архивах и написать историю Петра. Канцлер Бестужев, однако, отказал, заявив, что «Историю» должна написать Петербургская академия, а не иностранец. Когда директором Академии был назначен восемнадцатилетний Кирилл Разумовский, брат фаворита, Вольтер снова обратился с той же просьбой. Но и на этот раз последовал отказ.

Что касается Петербургской академии наук, то она отнеслась к Вольтеру с большим пониманием, и 10 мая 1746 г. он получил звание ее почетного члена.

Желание Вольтера сбылось. В начале 1757 г. граф Бестужев-Рюмин, русский посол в Париже, от имени

И. И. Шувалова просит его приехать в Россию и писать историю Петра. Вольтер в восторге. «Вы мне делаете предложение, о котором я мечтал тридцать лет». Однако требует гарантий: «Я хотел бы, чтобы господин граф Шувалов соблаговолил заверить меня, что ее величество Императрица желает, чтобы этот памятник был воздвигнут в честь императора, ее отца».

От поездки в Россию Вольтер отказался, вежливо сославшись на здоровье, а приятелю Сидевиллю писал 9 февраля 1757 г.: «Не хочу ни короля, ни самодержавия. Сыт по горло. С меня довольно». (Воспоминания о пребывании при дворе прусского короля были еще свежи.)

Так Вольтер стал историком русского царя Петра Первого. Он вспомнил о встрече с ним где-то на рыночной площади Парижа. «Когда я его увидел сорок лет тому назад, ни он, ни я не думали о том, что однажды я стану его историком», — писал Вольтер Тирио 4 марта 1759 г.

Со стороны русского правительства выбор был необыкновенно удачен. По сути дела был заказан крупному мастеру литературный памятник Петру, и для той поры он, пожалуй, был более значителен, чем сто лет спустя памятник в бронзе, исполненный Фальконе и его ученицей Марией Колло.

Важно было само имя Вольтера, авторитет этого имени, всеобщая известность, которая еще более привлекла внимание мировой общественности к личности Петра. Вольтер не мог знать достаточно хорошо внутреннюю жизнь России, и заключительные строки его книги приглашали «национальных историков» рассказать о том, о чем не мог рассказать он, иностранец. Он назвал Петра «великим человеком, который научился побеждать врагов России, который дважды выезжал за ее пределы, дабы подать личный пример своему народу, который был основателем и отцом своей империи». Для Вольтера Петр являл собою образец идеального государя, и он ставил его в пример всем коронованным особам Европы. «Они бы сами должны себе сказать: «Если в ледяных просторах древней Скифии человек, опираясь только на собственный гений, совершил столько великих дел, то что же можем сделать мы в наших королевствах, где плоды труда народа, накопленные многими веками, делают наши задачи совсем нетрудными». Такого мнения о Петре придерживалась в те дни вся передовая мыслящая Европа. Известие о его смерти в

1725 г. было воспринято, особенно в научных кругах, с большим сожалением. В ноябре 1725 г. Французская академия поручила своему секретарю Фонтенелю написать похвальное слово Петру I. (Фонтенель встречался с русским царем 19 июня 1717 г. во время его пребывания в Париже.)

Речь Фонтенеля содержала не только похвалу Петру, но и косвенный упрек всем здравствовавшим монархам. Петр прославлялся за то, что смело порвал с устаревшими традициями, отбросил предрассудки, придерживался религиозной терпимости, был чужд религиозному фанатизму, что подчинил церковь государству, что отнял у нее лишние богатства и заставил платить палог, что уничтожил патриаршество, что верил в науку и технику, двигателей прогресса, словом, сделал то, что не смогли, не умели, не хотели или не смели сделать другие монархи.

Вольтеру надо было как-то объяснить общественному мнению Европы казнь царевича Алексея. Многим это казалось чудовищным со стороны Петра. Вольтер оправдал трагическую необходимость акта. «Петр был более государем, чем отцом. Он принес собственного сына в жертву интересам созидателя и законодателя, интересам своего народа, который без этой несчастной суровости впал бы снова в то состояние, из которого он был извлечен»¹.

Вольтер, видимо, много размышлял об исторических судьбах России. Его наблюдения интересны и глубоки. Он полагает, к примеру, что несчастья России начались с того момента, когда «великий князь Владимир разделил страну между своими детьми и тем ослабил ее. Уделы князей стали добычей татарских орд». Вольтеру не известно было еще «Слово о полку Игореве», не известно тогда оно было и русским, но автор этой великой поэмы из той далекой эпохи пел о том же. «Рекоста бо братъ брату: «се мое, а то мое же». И начыша князи... сами на себѣ крамолу ковати. А погании съ всѣхъ странъ прихождаху съ побѣдами на землю Рускую».

Вольтер писал, что «Россия является единственным большим христианским государством, в котором религия не возбудила гражданских войн, хотя и вызвала кое-какие волнения».

¹ Петр I писал сыну: «Я за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя, непотребного, покалеть?»

Замечание важное: Россия, «страна волков и медведей», как презрительно ее именовал Фридрих II, не знала ни инквизиции с ее ужасами, ни ведовских процессов, ни кровопролитных сражений религиозных фанатиков.

Как известно, в 30—50-х гг. XIX в. в России славянофилы осудили Петра Первого за реформы, за насильственную европеизацию страны, за то, что он нарушил естественный ход ее развития и столкнул ее с особого национального пути. Они всячески прославляли стародавнюю допетровскую Русь. Иначе говоря, все то, за что Вольтер прославлял Петра, ими было подвергнуто пересмотру и критике. Пожалуй, первой ласточкой славянофильства, как это ни странно, оказалась Екатерина II. Ее привлекли к допетровским временам события французской революции. Какие примеры дает Запад?! Там казнят королей (Карла I в Англии, Людовика XVI во Франции), там бесчинствует народ, подстрекаемый «философами», там смуты и революции. Нет, нет, не нам идти к этим странам за наукой, не нам перенимать у них дух свободомыслия! Как спокойны в этом отношении православные консервативные старорусские царства! «Признаюсь вам,— говорила она Сенаку де Мейлану, французцу, вознамерившемуся написать историю России,— у меня определенное пристрастие ко всему тому, что предшествовало царствам дома Петра I», иначе говоря, если будете писать о России, то не как Вольтер, восхвалявший петровские реформы. И далее: «Я хотела бы, чтобы история писалась не ради восхваления одного царства», то есть как у Вольтера, посвятившего свою историю только эпохе Петра и не оценившего стародавнюю, православную и так не похожую на буйную и беспокойную Европу Русь. И наконец, совсем уже политически определено: «Я хотела бы верить, что вы не найдете в России французского духа», а именно французской революционности.

Надо, однако, отдать ей должное. Она много и тщательно читала русские летописи. Ее интерес заметили и однажды на письменный стол императрицы легла аккуратно переписанная рукопись «Слова о полку Игореве», только что тогда найденная стараниями графа А. И. Мусина-Пушкина.

теты, конечно, доходили до ушей болезненно впечатлительного Руссо.

В июне 1760 г. он проклял своего бога: «Я не люблю вас больше, сударь, вы причинили мне, вашему ученику и вашему энтузиасту, самые острые страдания... Из всех чувств, которыми сердце мое было наполнено по отношению к вам, осталось только восхищение вашим прекрасным талантом. Не моя вина, если я не смогу чтить в вас ничего, кроме ваших дарований».

Зачем бы, кажется, Вольтеру не остановиться, не замолчать, не протянуть первым руку примирения человеку, старше которого он был на добрых полтора десятка лет, порывистому, искреннему, восторженному? Но Вольтером овладел бес мести, лукавый, изощренный, жестоко избрательный. Прочитав роман Руссо «Новая Элоиза», он не поспешил на самые резкие, самые очернительные отзывы в письмах, и это тогда, когда Франция — самая просвещенная, самая лучшая ее часть — с благоговейным трепетом принимала каждую страницу нового произведения Руссо. Так же он встретил и «Эмиля», выискивая острым взглядом «смехотворные нелепости», и только дойдя до главы «Исповедание веры Савойского викария», где Руссо провозглашал «религию сердца» в противовес «кровавой религии Христа», потеплел и умилился: «Пятьдесят страниц, которые бы я хотел переплести в сафьян».

Ссора вскоре разгорелась с новой силой. Руссо бросал обвинения Вольтеру в «Письмах с горы». Вольтер ответил памфлетом «Чувства граждан». Руссо волновался, негодовал, но действовал открыто. Вольтер лукавил, прятал свое авторство. (Памфлет его был написан якобы гражданином Женевы.) Этот смиренномудрый мещанин был якобы объят священным ужасом перед кощунствами автора «Писем с горы». Смиренномудрые речи, елейные воздыхания и молитвы, мастерски подделанные великим пересмешиком, ввели в заблуждение даже самого Руссо. Он не мог вообразить, что злая шутка, которая стоила ему чуть ли не жизни (городская толпа в Мотье-Труве, где жил в то время Руссо, подогретая памфлетом, забросала камнями окна его дома), — исходит от Вольтера.

Вольтер оправдывал себя тем, что считал Руссо предателем: «Отвратительно предавать своего собрата». Руссо никогда не мог забыть того, что без Вольтера он остался бы недорослем. Только Вольтер открыл ему глаза на мир,

заставил задуматься о себе, о людях, об окружающем, о вселенной. Только Вольтер! В Шамбери, живя у г-жи де Варанс в сомнительной роли слуги, двадцатилетний Руссо впервые прочитал Вольтера. Это были «Философские письма». Они, как мощный импульс, заставили неожиданно и ощутимо работать его мысль, они дали ей пищу, направление. Потом Руссо уже не мог пропустить ни одной строки, исходящей из-под пера философа и поэта. «Ничто из того, что писал Вольтер, не ускользало от нас. Удовольствие которое я испытывал от чтения внушило мне желание писать так же изящно, стараться подражать прекрасному слогу автора, которого я обожал».

И это обожание осталось навсегда, и тем больше воспринимались малейшие знаки невнимания, пренебрежения или недоброжелательства Вольтера, какие впечатлительный Руссо видел даже там, где их подчас не было.

Руссо и Вольтер никогда не встречались, никогда не видели друг друга. Первое их сотрудничество (заочное), как мы уже знаем, окончилось для Руссо печально. Но вот на всю Европу прогремело имя человека, который осмелился с покоряющим красноречием разоблачить мнимые дары цивилизации. Это было имя Жан-Жака Руссо, написавшего первый свой трактат «Рассуждение о науках и искусствах».

Сколько страсти, сколько желчи было в этом первом сочинении Руссо! Здесь предавались проклятию цивилизация, культура, труды гения и даже мысль человеческая.

Все это, по мнению автора, — развращало человека, ибо служило на потребу богачей, и, как идеал моральной красоты и в противовес культуре и цивилизации, автор прославлял первобытную дикость человека. Тогда было счастье, тогда была радость бытия, тогда человек был красив и добр.

Руссо послал свою первую книгу самому дорогому для него человеку — Вольтеру. Вольтер ответил разумно, но обидно: «Ваша книга учит ползать на четвереньках, между тем за шестьдесят лет я уже отучился от этого способа передвижения».

В неприязни Руссо к Вольтеру была в сущности одна причина. Он, убежденный плебей, с гордостью носивший знамя бедности, печальник всех бедняков мира, не мог примириться с тем, что Вольтер в быту подражал вельмо-

жам, что был богат, что держал целый штат слуг. Он не мог простить ему ни одной слабости и главную из них — подобострашие перед королями, которых сам он презирал.

В сущности расхождения между Руссо и Вольтером имели глубоко социальные истоки. За плечами Руссо стояла многомиллионная обездоленная масса бедняков, которые требовали радикальных изменений в общественной системе. Вольтер же представлял буржуазию, и, пожалуй, даже крупную буржуазию, готовую сохранить существующий порядок вещей, но без сословных привилегий. Деление общества на дворян (привилегированных по праву рождения) и простолюдинов — порочно, безнравственно. Деление же общества на богатых и бедных неизбежно. Вот его мысль.

«Люди не могут на нашей несчастной планете, живя в обществе, не делиться на два класса — богатых, которые командуют, и бедных, которые служат... Равенство, следовательно, одновременно и вещь самая естественная и самая химерическая».

«КАНДИД, ИЛИ ОПТИМИЗМ»

Искусство во Франции всегда было выражением основной стихии ее национальной жизни: в веке отрицания, в XVIII веке оно было исполнено иронии и сарказма.

В. Г. Белинский

У берегов Женевского озера, почти свободный, почти независимый, с дряхлым телом, с юным умом, Вольтер создавал свои художественные шедевры и содействовал миру «яростно освобождаться от глупости».

В 1758 г. он тайно писал «Кандида», самую лучшую свою философскую повесть. Идеи, окрыленные рифмами в поэме «О гибели Лиссабона», теперь засверкали в коротких и острых, как стрелы, фразах прозы.

XVIII век создал свой особый литературный жанр — философский роман, философскую повесть. Начало ему положил Монтескье книгой «Персидские письма», вышедшей в свет в 1721 г., однако истоки его следует искать еще в эпохе Ренессанса («Утопия» Томаса Мора, «Похва-

ла глупости» Эразма Роттердамского, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле).

Философский роман не претендовал на точность и обстоятельность бытописания, на тщательное изображение характеров. Он охотно прибегал к фантастике, к приемам сказочного повествования, обращался к далеким странам, к малоизвестному тогда Востоку. В веселом шутливом тоне автор рассказывал были и небылицы, как бы желая позабавить читателя.

Но это была уловка. На самом деле он меньше всего думал о развлекательности своего рассказа. Ему важно было довести до читателя идеи, а они имели непосредственное отношение к социальным, политическим и философским проблемам века. Философский роман был, в сущности, трактат, но трактат особый без тяжеловесных рассуждений, без ученого педантизма, трактат в форме общедоступного художественного иносказания.

«Этот жанр имеет несчастье казаться легким, — отзывался о нем Кондорсе, просветитель и первый биограф Вольтера, — но он требует редкого таланта, а именно — умения выразить шуткой, штрихом воображения или самими событиями романа — результаты глубокой философии».

Классическим образцом жанра были философские повести Вольтера и наиболее читаемая из них «Кандид, или Оптимизм». Повесть Вольтера есть не что иное, как размышление о мире, полном предрассудков, насилия, мучительства, угнетения и глупости.

В XVIII в. много говорили о космосе. Великие открытия Ньютона возбудили в обществе чрезвычайный интерес к мироизданию. Вспомнили книгу Кеплера «Гармония мира», написанную еще в 1616 г., в которой наряду с важными научными истинами содержались и спорные, мистические толкования. В ходу были и теории Лейбница о некоей «предустановленной гармонии» («Рассуждения о метафизике», 1685 г., и другие сочинения), которые, перенесенные из области естественных наук в сферу общественных идей почитателями этих великих ученых, часто вели к благодушному примирению со всеми социальными пороками. Рассуждали так: раз во вселенной царит богом установленная гармония, то и в обществе существует такое же согласие, своеобразное равновесие сил, иначе говоря, зло уравновешивается добром.

Против этой теории политического благодушия, названной Вольтером теорией «оптимизма» и направлена была его повесть «Кандид, или Оптимизм».

«Кандид» — как и «Задиг» — сказка. Героями сказок обычно бывают или царицы или дурачки. Заметим, что «дурачок» в русских сказках слово ласковое, доброе, оно не означает «глупый», но — простодушный, бесхитростный, наивный. Потому Иванушка-дурачок и оказывается в конце концов и самым умным и самым удачливым.

В повести Вольтера Кандид именно таков. Слово «кандид» (*candidus*) на языке древних римлян означало «ослепительно белый», «белоснежный». От него шли и все производные значения нравственного порядка — «наивный», «искренний», «чистосердечный», «беспечный». Все эти эпитеты подходят к герою повести Вольтера. Кандид наивен и чист душой. Он и прекрасен, ибо юн, он и «беспечен», ибо не подозревает того, какие беды готовит ему жизнь. В самом имени героя — вольтеровская ирония. «Счастливому» Кандиду выпадают такие беды, что назвать его можно разве что бедолагой.

Кандид живет в замке кичливого и тупого немецкого барона Тундер-теп-Тронка. В родословной барона версипица поколений предков, чем он очень гордится. В том же замке живут прекрасная дочь барона Кунигунда, ее брат, столь же кичливый. Там же живет и еще одно примечательное лицо — философ Панглос. Он сторонник идеи Кеплера и Лейбница о мировой гармонии.

В насмешливо гротескной форме воспроизводятся его разглагольствования: «...все по необходимости существует для наилучшей цели. Вот, заметьте, носы созданы для того, чтобы носить очки, — поэтому мы носим очки. Ноги, очевидно, предназначаются быть обутыми, — и мы носим обувь. Камни были созданы, что бы их тесать и строить из них замки, — и вот у монсеньора прекрасный замок; величайший барон области должен иметь наилучшее жилище. Свины созданы, чтобы их есть, — и мы едим свинину круглый год».

Философ Панглос и идея мировой гармонии — вот главный объект насмешек Вольтера. Для опровержения идеи примирения с действительностью, или оптимизма, он развернул длинную череду самых жестоких злоключений своих героев. Все било в одну цель, все было пронизано одной мыслью — мир человеческий устроен плохо, всюду

люди страдают, и причина этих страданий — в общественных институтах, порочных законах, нелепых предрассудках.

Барон изгнал Кандида из своего замка. Изгнан был и философ Панглос. Пути их разошлись, но каждому из них выпала самая печальная участь. После долгих мытарств, измученные и опустошенные, они встретились снова. Учитель и ученик. И безносый Панглос, гонимый Панглос, избиваемый, терзаемый, почти повешенный, почти сожженный на костре, чудом спасавшийся и снова бросаемый в море бед — несчастный и жалкий, вечный образец слепой и благодушной глупости проповедовал... «оптимизм».

Слепая вера обладает магической силой воздействия особенно на души чистые, доверчивые, юные. Простодушный и наивный Кандид не решается подвергать сомнению проповедь своего учителя. Он верил Панглосу, но... «...мой дорогой Панглос,— сказал ему Кандид,— когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали думать, что все в мире идет к лучшему?»

— Я всегда оставался при своем прежнем убеждении,— отвечал Панглос,— потому что я философ. Мне непристойно отречься от своих мнений: Лейбниц не мог ошибиться, и предустановленная гармония есть самое прекрасное в мире, так же как полнота вселенной и невесомая материя».

Отвергая теорию «оптимизма», иначе говоря, идею «предустановленной гармонии», которая убаюкивала людей, в то время как нужно было деятельно разрушать зло и созидать добро, Вольтер вовсе не хотел заразить своего читателя унынием или отчаянием. Век просвещения смотрел вперед, он верил в силы разума и, пожалуй, в добрую основу человека. «Люди несколько извратили природу, ибо они вовсе не рождаются волками, а становятся ими»,— писал он. И задача, следовательно, состояла в том, чтобы уничтожить те общественные установления и институты, которые способствуют превращению людей в волков.

Вольтер показал читателю и страну своей мечты, иначе говоря, своих общественных идеалов. Кандид побывал в Эльдорадо, сказочном царстве, где не было монахов, инквизиции, казней, тюрем, где процветали пауки и искусства, где люди жили в неведении вла и притеснений. Так должно быть в идеале. Но когда Кандид вернулся из этой

страны мечты и ступил на почву реальности, он увидел... распростертого на земле негра, — полуодетого, истерзанного.

«...Собаки, обезьяны, попугаи в тысячу раз менее несчастливы, чем мы, — говорит негр, — жрецы, которые обратили меня в свою веру, говорят мне каждое воскресенье, что мы все — потомки Адама, белые и черные. Я не силен в генеалогии, но если проповедники говорят правду, то мы двоюродные братья. Однако согласитесь, нельзя же так ужасно обращаться с родственниками».

Стиль Вольтера — образец убийственно иронической прозы.

В каждом слове намек, в каждой фразе далеко идущая мысль. Чеканная проза сверкает умом. Подобно калейдоскопу складываются, сменяются судьбы, события, и мир полон жестоких нелепостей. Вольтер обзревает весь тогдашний мир. Берлин, Германия, пошлые геральдические притязания тупоумных баронов (их насмотрелся вдоволь французский автор), Франция — «обезьяны поступают как тигры» (казни, убийства, пытки), Венеция — «хорошо только одним нобелям» (аристократам).

Вольтер ироничен, он щедр на комплименты. Какие похвалы инквизиторам! «Архидьякон, сжигал людей чудесно...» и пр.

Вот колоритная сценка из повести. Привожу ее с несколькими сокращениями: «Вы знаете Англию? Там такие же безумцы, как и во Франции? — это другой род безумия... вы знаете, что эти две нации ведут войну из-за клочка покрытой снегом земли в Канаде и что они израсходовали на эту прекрасную войну гораздо больше, чем стоит вся Канада... Разговаривая так, они прибыли в Портсмут. Множество народа виднелось на берегу; все внимательно смотрели на довольно полного человека, который стоял на коленях с завязанными глазами на палубе военного корабля; четыре солдата, поставленные против этого человека, преспокойно выпустили по три пули в его череп, и публика разошлась, чрезвычайно удовлетворенная.

— Что же это, однако, такое? — сказал Кандид. — Кто был этот толстяк, которого убили с церемонией.

— Адмирал, — отвечали ему.

— А за что убили этого адмирала?

— За то, — сказали ему, — что он не убил достаточно

людей... в нашей стране убивают время от времени одного адмирала, чтобы придать бодрости другим».

Вольтер не выдумал этот эпизод. В 1757 г. английские власти расстреляли адмирала Бинга за то, что он не сумел выиграть сражение в битве с французами у острова Минорка. Вольтер тщетно пытался спасти его.

Женевские издатели братья Крамеры напечатали книгу тиражом в 6 тысяч экземпляров. 20 февраля 1759 г. она появилась в Париже.

Немедленно последовал запрет «богопротивного и безнравственного» произведения. Но уже в марте за один месяц в столице разошлось еще пять тайных изданий книги. К концу года их было уже двадцать. В том же году книгу перевели на английский и итальянский языки.

Вольтер самым «искренним» образом негодовал. «Что за бездельники приписывают мне какого-то Кандида, забавы школьника. Право, у меня есть другие дела» (письмо к аббату Верну). И через неделю: «Я, наконец, прочел Кандида, нужно потерять рассудок, чтобы приписать мне подобную нелепицу. Слава богу, у меня есть более полезные занятия».

И простодушный аббат верил и разделял негодование своего корреспондента. То же писал Вольтер и маркизу Тибувиллю: «Я наконец прочел, дорогой маркиз, этого Кандида, о котором вы мне говорили, и чем больше я смеялся, тем больше сожалел о том, что мне его приписывают. Однако какие бы романы ни сочиняли, трудно воображению приблизиться к тому, что творится на самом деле на нашем печальном и смешном земном шаре».

Идеи автора повести быстро подхватили, особенно молодежь. Бомарше, тогда еще не известный в литературных кругах, задолго до своих знаменитых комедий написал поэму «Оптимизм». Он писал в ней:

Повсюду ищут, изучают
Причины зол, что отягчают
Тот мир, в котором мы живем,
Наш общий грустный старый дом.
Друг с другом споря, каждый рад
Твердить с речистой отвагой
О том, что в мире всюду лад
И гармоническое благо.
Что согласованность царит,
Толпа безумцев повторяет,
Что так де Лейбниц говорит,
Что так де Кеплер утверждает.

Коль благо все, что ж озпачает,
Что деспот жизнь мне отягчает,
Мою свободу похищает?..
Какой закон, нам свыше данный,
Мой век калечить разрешил,
Кто учредил порядок страшный,
Кто волю мне поработил?

Повесть Вольтера вошла в фонд мировой литературы. «...Его «Кандид», — писал Белинский, — потягается в долговечности со многими великими художественными созданиями, а многие невеликие уже пережил и еще больше переживет их».

«ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВСТВЕННОИЦА»

Ах, где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы,
Где читают «Pucelle»¹
И летят под постель
Святцы.

К. Ф. Рылеев

Между тем жизнь в Фернее шла своим чередом. Приезжали гости. Их шумная толпа часто досаждала «патриарху». Он скупился на время, а гости отнимали золотые минуты. Тратить их на пустую болтовню, когда голова полна самых обширных планов, когда мир требует его постоянного вмешательства! И он скрывался в своей спальне и сказывался больным, но читал, писал, диктовал, отправляя в иной день до тридцати писем во все уголки Европы.

В Фернее окончательный свой вид приняла поэма «Орлеанская девственница», самое дерзкое антиклерикальное произведение Вольтера, самое удавшееся ему по поэтическому мастерству.

Поэма была начата в 1730 г., но только через тридцать два года Вольтер осмелился ее напечатать. До того поэму читали его немногие друзья, читали и переписывали для себя. Один из списков попал в руки авантюристов. В 1755 г. кто-то из его недоброжелателей (подозревают

¹ «Pucelle» — «Орлеанская девственница» (поэма Вольтера).



Вольтер сажает деревья. Картина Жана Гюбера.

капуцина Мобера) опубликовал ее во Франкфурте-на-Майне. Вольтер немедленно же отказался от авторства. К тому же в тексте было много искажений, скабрзностей дурного тона. Издатели явно хотели «заработать» на запрещенном товаре, а заодно и погубить Вольтера.

Раздраженные публичной дезавуацией, издатели через год предприняли новую публикацию «Девственницы», теперь уже открыто издеваясь над автором и его отказом, приложив к поэме собственные памфлеты против него. Вопреки ожиданиям, эти их нападки значительно облег-

чили задачи Вольтера. Теперь он уже выглядел жертвой мистификации злумышленников.

Но потока было уже не остановить. Поэма вышла в 1757 г. в Лондоне с соблазнительными иллюстрациями и, наконец, в 1759 г. в Париже. Ее уже знали все, никто не сомневался в авторстве Вольтера, и в 1762 г. фернейский старец напечатал ее сам, посыпав главу пеплом и приготовившись ко всем испытаниям. Но все обошлось благополучно. Люди строгие гневались, беспечные и веселые смеялись. Власти раздумывали о мерах, которым можно было подвергнуть автора. Время шло, и покой фернейского царства так и не был потревожен.

В 1774 г. Вольтер снова вернулся к своей озорной поэме, просмотрел, исправил ее и пустил в свет, теперь уже навсегда расставшись с ней. Это издание и стало каноническим для всех последующих публикаций. Правда, дотошные издатели никак не могут оставить в забвении строки, отвергнутые автором, и под видом разночтений и вариантов все-таки включают их в свои публикации.

Строгие люди времен Вольтера говорили, что он, Вольтер, осмеяв Жюанку д'Арк, обошелся с ней более жестоко, чем епископ города Бове, который сжег ее когда-то на костре. Они говорили и о том, что скабрзности, какими полна поэма, могут причинить непоправимый ущерб морали. Веселые люди им отвечали, что шутка никогда не приносит зла, что идеи не только тогда хороши, когда облечены в жесткие рамки силлогизма, они легки и доступны в радостно игривом каламбуре, в изысканной остроте, намеке и нескромной сценке интимного свойства.

Шутливая поэма Вольтера, конечно, ничуть не поколебала авторитета народной героини Франции, не причинила ущерба морали, но поколебала авторитет церкви, принесла ощутимый ущерб религии.

Пушкин чрезвычайно ценил, особенно в молодые годы, эту поэму за ее веселость, остроумие, несколько грубоватое насмешничество в духе Боккаччо, непринужденность и легкость стиха. В поэтическом отношении он считал ее лучшей из всех стихотворных произведений французского автора. Разлитый в ней дух безбожия импортировал духу лицейской молодежи.

2 марта 1818 г. он подарил экземпляр поэмы Н. И. Кривцову («Другу от друга»), отъезжавшему тогда в Лондон на дипломатическую службу:

Когда сожмешь ты снова руку,
Которая тебе дарит
На скучный путь и на разлуку
Святую библию харит?
Амур нашел ее в Цитере,
В архиве шалости молодой.
По ней молись своей Венере
Благочестивою душой.

Следы чтения вольтеровской поэмы найдем мы в «Гавриляде» Пушкина.

В письме к лорду Боллингброку Вольтер жаловался на адски трудное положение французского поэта. «Легче написать сто стихов на любом другом языке, чем четыре — на французском. Французский поэт — раб рифмы. Ему нужно подчас четыре стиха, чтобы выразить одну мысль, тогда как английский делает это в одной строке. Англичанин выражает все, что хочет, — француз только то, что может. Первый свободно шагает по просторам, второй втиснут в узкий проход, заваленный препятствиями. И мы не можем отказаться от рифмы. Чем мы заменим ее? Наш язык почти не допускает инверсий, в наших стихах почти нет анжамбеманов, мы не можем строить гармонию стиха на чередовании долгих и коротких слогов; цезуры и несколько стоп, имеющиеся в нашем распоряжении, недостаточны для того, чтобы более или менее заметно отделить стихи от прозы. Потому рифма необходима французской поэзии. К тому же Корнель, Расин, Деспрео так приучили нас к рифмованным строчкам, что мы уже не мыслим себе иных.

И тем не менее мы хотим, чтобы поэт несколько не жертвовал смыслом ради рифмы, чтобы рифма не была ни слишком избитой, ни слишком редкостной, мы требуем от стихов той же ясности и точности, что и от прозы, и не даем поэту никаких послаблений, пусть несет он свои цепи, но выглядит всегда свободным».

Сам Вольтер, однако, легко нес свои поэтические цепи. Стих его лился свободно, мысль никогда не уступала рифме. Правда, в наши дни во Франции, в ее литературных кругах раздаются иногда голоса с требованием лишить его звания поэта. Слишком уж ясен его стих. Нет взлетов, нет эмоций, нет поражающих воображение метафор, нет неожиданных сдвигов и поворотов мысли, туманных ассоциаций, никому не ведомых намеков, нет изломов и изысков формы. Стих его слишком легко дышит, и мысль до-

ступна, она на ладони, право, как в незатейливой форме.

Это заметил еще Пушкин. «Он (Вольтер.— С. А.) паводнил Париж прелестными безделками, в которых философия говорила общепонятным и шутливым языком, одною рифмой и метром, отличающимся от прозы. И эта легкость казалась верхом совершенства».

Пушкин был склонен отказать Вольтеру в чувстве «изящного», как и Монтепо, Монтеские и даже Жан-Жаку Руссо, но однажды, найдя несколько новых, еще не известных ему стихов поэта, он пришел в восторг, и отошли в сторону романтические кумиры XIX в., заслонившие собой кумира предшествующего столетия. «Признаемся в гроссо нашего запоздалого вкуса: в этих семи стихах мы находим более слога, более жизни, более мысли, нежели в полдюжине длинных французских стихотворений, писанных в нынешнем вкусе, где мысль заменяется исковерканным выражением, ясный язык Вольтера — напыщенным языком Ронсара, живость его — неспособным однообразием, а остроумие — площадным цинизмом или вялой меланхолией».

ЖЕРТВЫ ФАНАТИЗМА

Религия наша несомненно самая смехотворная, самая слепая и самая кровавая из всех, когда-либо осквернявших мир.

Вольтер

В 1764 г. Вольтер опубликовал свой «Философский словарь». Он начал работать над ним еще в Германии — двенадцать лет до того. Однажды, как вспоминал Коллини, его секретарь, вернувшись с королевского ужина и ложась в постель, он оживленно рассказывал:

— Сегодня у нас возникла идея — писать «Философский словарь». Все, кто был, и король тоже, согласились. Мы уж и статьи распределили. Адам, Авраам и пр. Будем работать вместе — концертом. Не правда ли, чудесно? Укрывшись одеялом, он поворчал на осеннюю сырость (это был конец сентября 1752 г.) и, вздохнув, сказал:

— Пододвиньте мне поближе свечу или лучше почтите **Воккаччо**.



Карикатура Оноре Домье.

«Я думал, — вспоминал Коллини, — что эта затея придумана ради увеселения ужина, но Вольтер, деятельный и пылкий, на другой же день начал работать».

Теперь в Фернее он закончил книгу. 73 статьи вошли в словарь и среди них «Адам», «Алькоран» (Коран), «Душа», «Инквизиция». И все это с позиций высокой науки, просветительской философии, с блеском ума и таланта.

Прокурор Жоли де Флери представил Парижскому парламенту соответствующий доклад о том, что «мишенью богохульствующего автора» являются «авторитеты божественной и человеческой власти», и книга немедленно бы-

ла осуждена на сожжение. Так же поступили и женевские прасители. Вольтер привык к этому. Злоба и ненависть догматиков его не смущали, но произошло нечто более страшное... Его «Философский словарь» послужил «улик-кой» для обвинения в одном из самых жестоких по последствиям, самых чудовищных судебных процессов, какие когда-либо происходили во Франции времен Вольтера.

Еще в XVI столетии христианская церковь расколо-лась на католическую и протестантскую. Долгая кровопро-литная война сопровождала этот раскол во Франции, пока король Генрих IV не обнародовал в Нанте эдикт веротер-пимости, иначе говоря, дал права гражданства протестан-там (гугенотам). В 1685 г. Людовик XIV отменил этот эдикт, и начались дикие жестокости. Протестантов, застиг-нутых на общих молитвах, отправляли на каторгу. Свя-щенников вешали. Так продолжалось до самой революции. Людовик XVI во время коронавания произнес торжест-венную присягу: «Клянусь от чистого сердца употреблять всю свою власть для истребления осужденных церковью еретиков во всех мне подвластных землях».

Церковь утверждала абсолютизм королей (в XVII в. знаменитый проповедник епископ Боссюэ восклицал: «О, короли,— вы боги!»), но и требовала от них полней-шей нетерпимости к инаковерующим.

Вот несколько эпизодов из летописи тех дней:

Дело Каласа

Марк-Антуан Калас не хотел быть купцом, как его отец и старший брат. Заботы и радости, которые поглоща-ли сердца и умы его близких, казались ему ничтожными. Он жил в мире книг. Мечтательный, склонный к экзаль-тации, он был непонятен окружающим. Его любили и жа-лели, как жалеют в семье больного ребенка. И это тоже терзало сердце юноши.

Кем быть? Продолжать дело отца — для этого не было желания и склонностей. Открывать для себя какую-то иную дорогу — не было умения, не было сил. Круг замкнулся. А все дело заключалось в том, что родился и жил он в католическом городе Тулузе, но родители его были протестантами. Католики могли учиться в университете и потом, окончив его, избрать любую профессию. Протес-тантам в этом было отказано. Отречься от веры отца,— но это значило убить старика.

Трудно утаить что-либо в маленьком городке, и о горестях младшего сына купца Каласа, верно, кто-то знал из соседей, может быть, по-своему сочувствовал ему или просто судачили, судили-рядили о нем в минуты досуга.

Однажды в руки Марка-Антуана попала трагедия Шекспира «Гамлет». Каждое слово принца датского, воспетого английским поэтом, падало, подобно капле раскаленного металла, на страждущую душу купеческого сына. Вот его герой! Вот его двойник! И трагедия мучительно влекла к себе, и Марк-Антуан читал и перечитывал ее, повторяя в бессонные ночи знаменитый монолог «Быть или не быть», написанный как бы по заказу именно для него.

А потом — новая находка в огромном море книг, где всегда найдется что-нибудь созвучное любому человеческому настроению. На этот раз это была речь Сенеки о самоубийстве. Во времена Нерона самоубийства в древнем мире были в большой моде, и придворный философ императора разукрасил идею самоуничтожения самыми изысканными перлами красноречия.

Ответ на знаменитый гамлетовский вопрос был найден. Марк-Антуан решил покончить с собой.

Для этого он выбрал самое неподходящее, самое неудачное время. Пожалуй, это был внезапный порыв, вызванный какими-то причинами, о которых молодой человек не поведал миру.

13 октября 1761 г. за обедом в семье Каласов был посторонний человек — гость. Размеренно и благодушно вели беседу. Во время ватянувшегося обеда Антуан вышел из-за стола, спустился вниз, в магазин, и повесился.

Вот кончился обед. Гость собрался домой. Старший сын пошел проводить его. Вошли в помещение магазина и тут увидели на веревке бездыханного юношу. Крики, вопли. Сбежались соседи. И охи, и вздохи, сочувствие и недоброжелательство — чего только не встретишь в толпе зевак.

А назавтра потянулся по городу зловеющий слухок. Кто-то высказал предположение, что мол надо было бы пареньку перейти в католическую веру, тогда бы он смог учиться, быть адвокатом или судьей, как он того хотел, да ведь протестанты скорее убьют родное дитя, чем допустят такое.

— Убьют? Да, да... Это вы верно заметили.

— Что? Старик Калас убил сына? Вы слышали?

И пошло, и пошло. Чудовищную версию подхватили. Фапатики подняли крик. Церковники принялись за свое черное дело.

Труп был торжественно внесен в католическую церковь. У изголовья поставили скелет (его одолжил какой-то хирург). К правой руке скелета прикрепили бумагу с огненными буквами — «отречение от ереси». К левой — пальму — символ мученичества. Кликуши выли и стонали у гроба. Кто-то излечился от недуга. Это еще больше возбудило страсти толпы. А там дело перешло к светским властям. Расследованием занялся городской суд.

Невиновность старика была очевидна. Как он смог поднять и повесить здорового парня? Как он смог одолеть его, ведь вряд ли человек без борьбы даст убить себя? Как он мог решиться на преступление в присутствии постороннего человека?

Достаточно только здраво взглянуть на вещи, чтобы отвергнуть клевету.

Но из тринадцати судей восемь голосовали за смертную казнь. Старика пытали, жестоко и долго. Хотели знать соучастников. «Если не было преступления, какие же могли быть соучастники», — твердил старик.

Казнь была ужасна. Палач поочередно раздробил железной палкой кости конечностей и грудной клетки. Потом привязал к колесу и началось медленное истязание тела (чтобы не сразу умер). Наконец, несчастного сожгли.

Так совершилось это страшное дело. Подобные вещи совершались не раз. К ним привыкли и никто, очевидно, кроме жителей города Тулузы, не узнал бы во Франции и в мире о деле Каласа, если бы случайно проезжий гость из Лангедока не рассказал о нем в Фернее Вольтеру. Писатель был потрясен. Он разыскал семью казненного купца. Она, бежав из Тулузы, жила где-то поблизости от Женевы. Вольтер досконально изучил все обстоятельства дела, он убедился в том, что людьми в судейских мантиях совершено чудовищное преступление. Теперь он уже не мог молчать. Четыре года бился писатель за реабилитацию тулузского мученика.

Это была битва не с одним человеком и даже не с группой людей, это был поединок смельчака с многоголовой гидрой, иначе говоря, всей политической системой Европы.

Как мудрый стратег, Вольтер привлек на свою сторону влиятельных лиц и в первую очередь императрицу русскую Екатерину II и короля прусского Фридриха II. Во Франции он заручился поддержкой королевского министра герцога Шуазёля.

Несостоятельность тулузских судей была настолько очевидной и кроме того все, к чему прикасался ясный ум Вольтера, становилось для всех настолько доступной истиной, что отказать в пересмотре дела не могли уже и власти Парижа. Правда, раздавались голоса, что лучше «замять» судебную ошибку, дабы не возбуждать в подданных короля недоверия к государственному судопроизводству. Но эти голоса потонули в громких кликах возмущения народа. Общественное мнение становилось уже силой внушительной.

9 марта 1766 г. решение Тулузского суда отменил Парижский суд. Парижане собирались толпами на площадях и бульварах. Аплодировали судьям. Волей-неволей они становились героями дня. Семью Каласа, обласканную королем (он пожаловал ей 36 тысяч ливров в возмещение потери имущества), встречали всеобщей овацией. Солнечный день предвещал как бы политическую весну. Оправдание Каласа становилось национальным торжеством, и имя Вольтера обрело силу всенародного признания. Он был уже не один, за его сгорбленной старческой спиной стояли миллионы полуголодных и оборванных, но сильных духом французских бедняков. Теперь не так уж просто было расправиться с беспокойным фернейским бунтарем. Когда два года спустя королева Мария Лещинская на смертном одре умоляла Людовика XV наказать «нечестивого Вольтера», тот только отшутился:

— Что вы хотите, мадам, если бы он был в Париже, я сослал бы его в Ферней.

Вольтер написал «Трактат о терпимости». Это был акт величайшей смелости и благородства. Писатель не стеснялся в выражениях. Он даже позабыл о той изысканной деликатности, которую усвоил от вельмож века Людовика XIV, и перестал смеяться. «Если вы хотите походить на Иисуса Христа, то будьте мучениками, а не палачами», — говорил он христианским проповедникам.

Дело шевалье де ля Барра

Французский городок в Пикардии Абвиль. Только в редких справочниках найдешь краткие сведения о нем.

Церковь святого Вульффрама, островерхая, ажурная, стрельчатая — в стиле готики, да суконная фабрика, построенная голландским купцом при попечительстве министра Людовика XIV Кольбера — вот и все достопримечательности города. Городские летописи хранят запись, что 24 апреля 1717 г. здесь проездом побывал Петр I и осмотрел суконную фабрику.

Река Сомма. В часы морского прилива она становится полноводной. Сады с темно-зелеными кущами, каменные домики, узкие улочки, да небо, да солнце. Оно там и двести лет тому назад светило так же живительно и щедро, как и сейчас, и небо тогда было такое же синее, как и в наши дни. Все дышало миром и покоем, и, казалось, ничего мрачного и жестокого не могло произойти в этом благодатном крае. Да и проповеди, произносившиеся с амвона церкви святого Вульффрама, и библейские песнопенья, звучавшие под ее сводами, звали к добру, милосердию и всепрощению во имя Христа, принявшего мученичество за весь род людской. Но то был обманчивый покой. В елейных речах проповедников таился яд свирепого фанатизма, ничего не щадящего, не знающего пощады. В наши дни католическая церковь присмирела, у нее отняли право казнить и сжигать людей на кострах, тогда, в дни Вольтера, она была всемогущей и надменной.

На городском кладбище, может быть, покоятся и сейчас останки господина Беллевиля под мраморным памятником с латинской эпитафией, а может быть, памятника давно уже нет, и никто теперь из местных жителей не знает о том, что двести лет назад покойник был здоров и бодр, сухощав и плечист, имел от роду шестьдесят лет и занимал важный пост в городе. Не знают также и того, что господин Беллевиль имел нежное сердце, и это сердце билось особенно сильно, когда острые глаза господина замечали где-нибудь поблизости прекрасное лицо молодой аббатисы.

Говорили, что, посыпав главу пеплом, он однажды признался ей во всем. Аббатиса опустила глаза и ответила, что сан не позволяет ей принимать ухаживания мужчин.

Казалось бы, и делу конец, по это было только начало и начало очень трагической истории. Господин Беллевиль затаил смертельную обиду. Ему стало известно, что в город прибыл племянник аббатиссы шевалье де ля Барр,

что племянник и его друг д'Эталонд, оба молодые и привлекательные, часто бывают у аббатисы. Яд ревности проник в сердце господина Беллевиля. Теперь он пылал ненавистью.

Однажды господин заметил, что при встрече с процессией, в которой приняли участие духовные лица города, два молодых красавца не сняли шляпы. Это показалось господину верхом неприличия и вольнодумства. Вслед за этим обнаружилось, что деревянное распятие на мосту пострадало от рук неизвестных нечестивцев. Может быть, это было делом случая: какая-нибудь проезжая карета задела его краем железного обода.

Делу дали ход. Из Амьена прибыл сам епископ, не поленившийся проделать утомительное пятидесятикилометровое путешествие. По навету господина Беллевиля девятнадцатилетний племянник гордой аббатисы был схвачен. Его друг д'Эталонд бежал.

Юношу зверски пытали. При обыске нашли у него маленькую книжечку — «Философский словарь» Вольтера. И это стало единственной, но грозной уликой. Правда, нашлись и свидетели. Одни говорили, что молодой де ля Барр фривольно толковал библейскую историю о Марии-Магдалине, другие слышали непристойные песенки из его уст. Но главной уликой была книжечка Вольтера.

Слушание дела было перенесено в Париж. Пятнадцать судей из двадцати пяти голосовали за смертную казнь. Участь юноши была решена. Исполнение приговора состоялось в Абвиле.

Де ля Барр сначала, пожалуй, больше был удивлен, чем обеспокоен за себя. «Я не знал, что за такую безделицу у нас могут казнить дворянина», — говорил он. Кстати, потому он и не бежал вместе с д'Эталондом. Судя по тому, как вел себя этот девятнадцатилетний паренек на суде и во время казни, можно заключить, что человек он был незаурядный, крепкий духом и презиравший своих судей.

Ему отрубили голову и потом сожгли. В этот же костер бросили злополучную улику — «Философский словарь» Вольтера. Это было 28 февраля 1766 г.

Ужас охватил писателя. «И это позволяет нация! Я плачу о детях, у которых вырывают языки. Я — больной старик, мне это простительно». «Лалли с кляпом во рту, Сирвен, Калас, Мартен, шевалье де ля Барр являются

мне в моих снах. Говорят, что наш век смешон,— он страшен».

Вольтера называли фернейским патриархом. Он был поистине духовным патриархом мира. В XVIII в. он нужен был страждущему миру. Его насмешливый, а часто и гневный голос гасил фанатическое исступление современников, вносил отрезвление в сумятицу религиозного безумия, кликушествующего сумасшествия толпы.

ФЕРНЕЙСКИЙ ПАТРИАРХ

В младенчестве своем бессмысленно-лукавом
Я встретил старика с плешивой головой,
С очами быстрыми, зеркалом мысли
зыбкой,
С устами сжатыми, наморщенной улыбкой.

А. С. Пушкин.

До конца дней Вольтер оставался энергичным и деятельным. Едва проснувшись (а просыпался он в 5 часов утра), он уже диктовал секретарю письма во все концы мира. Затем выходил в сад, ковылял с лейкой от куста к кусту. Иногда брал в руки лопату. Затем снова диктовал. Брошюры, философские сказки, пьесы, послания, трактаты потоком растекались по Европе. «Я повторяюсь, но это привилегия моего возраста. Я буду повторяться до тех пор, пока мои соотечественники не избавятся от глузости».

Когда скульптор Пигаль прибыл в Ферней, чтобы лепить его лицо, он спросил: «Сколько вам нужно времени для изготовления скульптуры лошади в натуральную величину?»

— Шесть месяцев.

— Напишите!

Пигаль взял перо и, несколько удивленный, написал: «Прошу шесть месяцев».

— Ну вот,— торжествовал Вольтер,— а в Библии сказано, что Аарон за одну ночь вылепил Золотую корову».

Одного офицера из полка принца де Линя он спросил о том, какой он религии.

— Меня воспитали в католической,— ответил тот.

— Великолепный ответ! — вскричал Вольтер.— Вы

слыхали: он не сказал! «Я католик», но «меня воспитали...».

Секретарь Вольтера итальянец Коллини вскоре покинул его. Его место занял четырнадцатилетний мальчик Ваньер. Очень тихий, скромный, удивительно трудолюбивый и аккуратный, он благоговел перед господином Вольтером. Каждая страница «записей» приобретала для него значение драгоценной реликвии. Любовно, каллиграфическим почерком он переписывал все, что чертила летучая, нетерпеливая рука Вольтера.

В Фернее Ваньер из мальчика превратился в юношу, потом в мужа и отца семейства, но неизменно оставался при Вольтере,— всегда скромный, исполнительный, искренне обожавший великого человека, с которым столкнула его судьба. Ваньер наблюдал, как работал Вольтер, дивился быстроте его ума. Ваньер вспоминал о Вольтере:

«Стихи он писал с удивительной легкостью. Он их записывал собственной рукой, когда это была длительная работа. И никогда не составлял плана пьесы. Его он держал в голове. Он писал стихи и тут же как бы проигрывал действие. Письма он диктовал, как диктовал и все прозаические произведения и маленькие стихотворения, диктовал с такой скоростью, что я должен был его останавливать, не успевая записать. Иногда он диктовал и одновременно что-нибудь читал.

Часто я наблюдал, как он исправлял корректуру, иногда внося большие изменения и вставки в свои сочинения самого различного характера — по истории философии, драматические произведения, романы, сказки,— и все это с величайшей легкостью».

Актеры не любили играть в его присутствии. Он увлекался, вставал со своего кресла, кричал, приходил в восторг. Это нарушало действие, мешало актерам, но оставаться спокойным Вольтер был не в силах. В Ферней почта несла письма, послания и книги, книги без конца и со всех сторон.

Получая новую книгу, Вольтер обычно читал две-три строчки на странице. Если книга его заинтересовывала, он откладывал ее, прочитывал уже внимательно, иногда даже дважды.

Вольтер дорожил мнением других. У него был свой критический «триумvirат», которому он отдавал на суд свои произведения. Это Тирио, д'Аржанталь и брат послед-



Лицо Вольтера. Зарисовки Жана Гюбера.

него Антуан де Ферриоль граф де Пон-де-Вейль, известный поэт, драматург, говорун и критик, а также знаменитый библиофил, собравший огромную библиотеку. В течение 50 лет Вольтер был дружен с г-жой дю Дефан.

Внешне Вольтер выглядел довольно оригинально, одевался старомодно, но богато и ярко. Принц Де Линь, бывавший в Фернее, описал его костюм. «Обычно он ходил в серых туфлях, серых чулках, длинном до колен камзоле из бумазеи, длинным большим парике и маленькой черной бархатной шапочке. В воскресенье одевал иногда велико-



Вольтер диктует. Картина Жана Гюбера. Эрмитаж. Ленинград.

лепную темно-красную униформу, камзол и штаны одного цвета, но камзол с большой оборкой, обшитый золотом с фестонами на бургундский манер, с огромными манжетами и кружевами до кончиков пальцев, что «придает благородный вид», — как говорил он».

Так уже никто не одевался, и посетители замка с улыбкой, всегда, конечно, доброй, глядели на парадный выход фернейского патриарха. Он часто жаловался на здоровье, почти ничего не ел, выпивал в день две маленькие чашечки кофе, очень мало спал, как и все старики. Заслышав о

приезде докучливых гостей, немедленно ложился в постель и «заболевал», но тут же вскакивал, как только какая-нибудь скучная любопытствующая чета удалялась из пределов Фернея, звал к себе Ваньера и диктовал или читал. Зрение его было великолепно, он никогда не носил очков.

Его активности, всегдашней непоседливости (хотя часто он недели проводил в постели), непоседливости главным образом духовной, его работоспособности можно было только подивиться. Он не оставлял мир в покое ни на минуту. Каждый день что-нибудь новое, отмеченное печатью его таланта, шло из Фернея в огромный мир печатного слова.

Вот что писал об этом Ваньер:

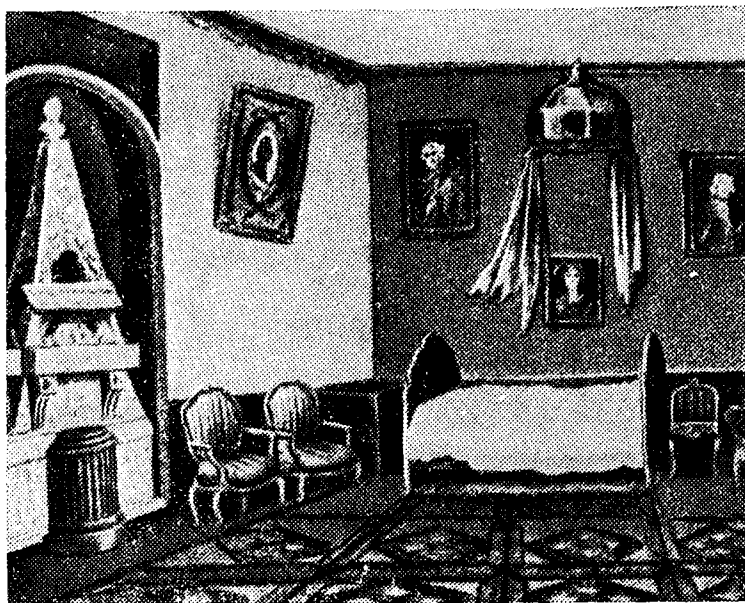
«Работа была его потребностью жизни. Большею частью мы работали по 18—20 часов в сутки. Спал он очень мало и часто даже будил меня ночью. Когда он писал пьесу, то бывал как бы охвачен лихорадкой. Воображение терзало его ум, не давало ему покоя. Тогда он говорил: «Черт вселился в меня. Да он и должен сидеть там, раз ты поэт».

Во всем, кроме работы, он знал меру. Когда он работал, его приходилось останавливать, говорить, что он ничего еще не ел. У него не было установленных часов для принятия пищи, сна, подъема. В общем, он проводил большую часть времени в постели работая. В сущности он обладал очень крепким здоровьем, хотя почти каждый день страдал желудком, что портило ему настроение».

Вольтер был самым страстным пожирателем книг. Он читал увлеченно, активно, часто иронически и насмешливо. Вот он в своем рабочем кабинете в халате, мягком и теплом, хотя на дворе июль. На голове не парик, а белый, сдвинутый на лоб колпак. Рот без единого зуба, крепко сжат. Губы куда-то исчезли, втянутые деснами, и нос смешно поднялся кверху. Он читает.

«Истинный смысл системы природы. Сочинение покойного господина Гельвеция. Лондон. МоСС XXIV».

Господин Гельвеций — автор книг «Об уме» и «О человеке» — просветитель, единомышленник, соратник Вольтера. Его уже нет в живых, этого милого и хлебосольного цариканиша, за столом которого не раз справляла шумные трапезы добрая компания философов-энциклопедистов. Эпиграммы и смех, и звон бокалов, и атеистические речи, и фривольные шутки звучали тогда. За этими трапезами



Спальня Вольтера в Фернее. В нише урна с его сердцем.

не было Вольтера, но его имя «учителя» произносилось признательно.

Теперь Гельвеция нет в живых, но только что в Лондоне вышла его последняя работа. И Вольтер хочет ее знать. Сейчас она перед его глазами. Читает он беспокойно, то быстро что-то строчит бисерным почерком на книге, на широких полях ее, — то что-то говорит вслух.

Что же это за полемика между умершим автором и живым читателем? Посмотрим текст, пробежим глазами строки Вольтера, написанные на полях, и нам станет понятно, почему с таким интересом и азартом относится философ к читаемому.

Гельвеций спрашивает: «Кто лучше, тиран-ханжа или тиран-безбожник?»

Вольтер отвечает: «Не хочу ни тигра, ни крокодила».

Далее патриарх уже ворчит. Гельвеций слишком резок, он готов отвергнуть всякое организующее начало в природе. Это уж слишком. И быстрое перо строчит поле-

мический ответ: «Природа имеет своего архитектора. Я вижу бога в математическом беге созвездий».

Далее фраза: «Мнимое превосходство человека в природе», — патриарх подчеркнул слово «мнимое». Очевидно, оно чем-то не понравилось ему. Чем же? На полях появляется быстрая запись: «Есть же разница между устрицей и Ньютоном».

Перевернул страницу, снова подчеркнул какую-то фразу. Что же это теперь? Читаем: «Государи пекутся о благе народа».

Вольтер написал на полях против строки итальянское слово «росші» (немногие). Вздыхнул и закрыл книгу. Нет, в идею просвещенной монархии он верит уже без прежнего увлечения. Слишком свежи в памяти впечатления от пребывания в Берлине. Правда, с Фридрихом II «дружба» как будто возобновилась. Король шлет ему с каждой почтой восторженные хвалы: «В вашем уме столько изящества, что вы можете и обидеть и тут же заслужить прощение тех, кто вас знает». И Вольтер от себя шлет подобные же комплименты: «Я скоро умру, так и не повидав вас. Я люблю ваши стихи, ваш ум, вашу смелую и прямую философию. Я не могу жить ни с вами, ни без вас».

В 1760 г. Вольтер написал «Мемуары», в которых сказал настоящую правду о Фридрихе. Он глубоко запрятал рукопись от посторонних глаз, потом сжег ее. Но аккуратный Ваньер ее переписал. Секретарь сделал две копии.

Одна из них, как говорят, попала к Лагарпу, и он возвратил ее потом Ваньеру, а тот передал Екатерине II при продаже библиотеки Вольтера. Ныне она в Ленинграде. Вторую впоследствии племянница Вольтера г-жа Дени отдала Бомарше, предпринявшему издание собраний сочинений философа. Словом, «Мемуары» не оказались уничтоженными. Маркиз де Виллет говорил о Вольтере: «Этот милый гений никогда не умел ничего утаивать, прятать ключи даже от своих дублонов».

Может быть, в деле с «Мемуарами» Вольтер хитрил и потомству он все-таки хотел оставить непредвзятую копию с облика «просвещенного государя»?..

Это, конечно, не был акт мести. «Мемуары» писались с великой просветительской целью — развенчания монархического принципа, веками вдалбливаемого в головы людей. Это был акт борьбы с политическим деспотизмом.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАРИЖ

Из Парижа от 16 февраля.
Сего месяца 10 числа прибыл сюда, после тридцатилетней отлучки, славный г. Вольтер. Публика, или лучше сказать весь народ, ненасытно стремится его видеть.

«Санкт-Петербургские ведомости»,
9 марта 1778 г.

Вольтер надеялся жить долго. Правда, в письмах своих к бесчисленным корреспондентам он называл себя «хилым старцем», «отшельником, страдаемым бесконечными недугами», «беднягой, страждущим в немощи телесной», жаловался на слабые уши, на дрожащие ноги, на боль в пояснице и на то, что настолько высох, что, умри он, в гроб нечего будет и положить, — но ни на минуту не сомневался, что жизнь отнюдь не собирается покидать его немощное тело.

Теперь 84 лет от роду он собрался в Париж. Доктор, не скрывая озабоченности, ворчал:

— Старое дерево не пересаживают.

Начались приготовления. Из конюшни был извлечен обширный дормез, стоявший там уже много лет без употребления. Внутри его установили походную печь. (Время было холодное.) 4 февраля 1778 г. Вольтер и его секретарь отправились в путь. Г-жа Дени уехала раньше.

Рукопись трагедии «Ирина» была уже отослана д'Аржанталю. Вольтер волновался. Согласится ли Лекен взять на себя роль Леонса? Лекен — великий актер, без него пьеса потеряет многое. Он — единственный, кто может быть поистине трагичным. Как прекрасно у него получается все мрачное, патетичное, ужасающее! Нет, нет, только Лекен! Вольтер вспоминал затерявшуюся в тумане лет первую встречу с Лекеном. Перед ним стоял тогда юноша, красный от смущения, в поношенном костюме. Он кашлял и не знал, куда деть свои руки. Это был рабочий-подмастерье. Но как преобразился он, начав читать. О, это был великий актер уже тогда. Он, Вольтер, это понял и сам ввел его в храм муз. Теперь ему не терпелось скорее прибыть в Париж. Он писал д'Аржанталю: «Мой ангел! Неужели же мне не удастся перед смертью посидеть в театральной ложе, спрятавшись за вашей спиной,

и послушать нашего друга Лекена!» И вот он едет в Париж, в бурный, шумливый, задорный, насмешливый Париж, каким его знал в юности, каким хотел видеть теперь.

Заспешенные горы Юры остались позади. Дорога шла через леса. Иногда дормез окружали пиццие. Их было много во Франции. Они протягивали руки, а женщины показывали посиневших от холода детей. Путешествие длилось неделю. Неделю города и села Франции по дороге Женева — Париж взволнованно переживали большое событие — проезд великого Вольтера. Готовился к встрече и Париж. В аристократических салонах и в домах горожан, на улицах и бульварах слышалось имя философа. Прозвучало оно и в кабинете короля. Людовик XVI осведомился, не давал ли покойный король, его прадед Людовик XV, какого-либо распоряжения относительно господина Вольтера, не говаривал ли он чего-либо о том, чтобы не допустить сего вольнодумца в столицу. Были осмотрены все архивы, но никаких желаемых документов на сей предмет найдено не было, и Людовику XVI ответствовали, что покойный король не благоволил к означенному господину, что же касается до распоряжений, запрещающих въезд в Париж сего господина, то таковых, по всей видимости, не было.

Людовик XVI впери в окно свои бесцветные глаза и вздохнул. Он знал, что приезд Вольтера не обещает ничего хорошего королевскому дому, но был нерешителен. В конце концов он махнул рукой: «На все воля божья...» Король был набожен.

* * *

10 февраля наконец-то показался Париж. Тридцать лет Вольтер не бывал здесь. Впрочем, он никогда долго и не жил в Париже. Решетки Бастилии отбили охоту к столичной жизни. Дормез остановился у заставы. Таможенные служители открыли дверцу, заглядывая внутрь кареты.

— Не везут ли сеньоры контрабандных товаров?

Вольтер лукаво подмигнул Ваньеру:

— Нет, нет, господа, даю вам слово. Контрабандный товар здесь разве только я сам.

Таможенники узнали Вольтера.

Дормез медленно катил к набережной Театинцев, где находился особняк маркиза де ля Виллета, предоставленный в распоряжение знаменитого гостя. На улицах толпился народ. Движение застопорилось. Карета парижского вельможи, зажата толпой, остановилась.

— Что там такое? Кого это встречают? — крикнул досадливо вельможа.

— Спасителя Каласа, ваша светлость, — сказала стоявшая поблизости старушка.

НА НАБЕРЕЖНОЙ ТЕАТИНЦЕВ

Г-н Вольтер приездом своим в Париж возбудил во всех желание его видеть. Не осталось почти знатных людей, которые бы не приезжали к нему с визитом. Пишут, что он при всем своем слабом здоровье трудится ныне в сочинении новой Трагедии, имея уже около осмидесяти лет от роду.

«Санкт-Петербургские ведомости»,
30 марта 1778 г.

Марию-Антуанетту мучило любопытство. Версаль опустел. В Париже появился новый «двор» и новый «король». Все, что было значительного в государстве, хлынуло теперь на набережную Театинцев, к особняку маркиза де ля Виллета на прием к Вольтеру. Говорили, что 300 знаменитейших людей Европы ждут сейчас аудиенции этого человека. И в Версале остались самые скучные люди, но и они говорили только о приезде Вольтера. Взыскательная королева готова была сама записаться на прием к нему, когда бы не король, ее супруг, когда бы не ее матушка императрица, королева венгерская и богемская, Мария-Терезия австрийская, ненавидевшая просветителей, а ради них и всех французов, «нацию без бога и нравственности».

У Вольтера побывали действительно значительные люди тогдашнего мира. О некоторых из них нельзя не сказать в этой летописи жизни великого просветителя.

Это был апофеоз Вольтера, как писал тогда Мельхор Гримм в своей газете, «награда за счастливую революцию, какую он произвел в нравах и умах своего века».

Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие пленительные тайны)...

Кто не помнит этих строк знаменитой пушкинской трагедии «Моцарт и Сальери»?

Глюк поразили музыкальный мир. До него опера была ипой. Музыка и стихотворный текст, как два разнородных элемента, друг с другом споря, разбивали впечатление. Глюк озвучил слово. Он пронизал его звуками тончайшей мелодии. Слово стало петь, а мелодия заговорила. Она заговорила страстным языком времени, суровым и грозным языком предреволюционной эпохи. Довольно трелей и убаюкивающего воркования струн, драматизм героического требует мужественной и страстной музыки! Таков был лозунг Глюка.

Париж заволновался. Музыкальные староверы пророчили конец света и, проклиная Глюка, шли в итальянский театр подремать под легкие, бездумные звуки песенок Пиччинни. Молодежь, смелая, боевая, всегда ищущая новое, пошла за Глюком.

И вот композитор-бунтарь на приеме у Вольтера.

— Я отложил свой отъезд в Вену ради чести и счастья видеть вас,— заговорил он, улыбаясь и приветствуя философа легким наклоном головы.

Вольтер воззрился глазами в лицо композитора. Умное, волевое, с крупными чертами, оно дышало силой и отвагой.

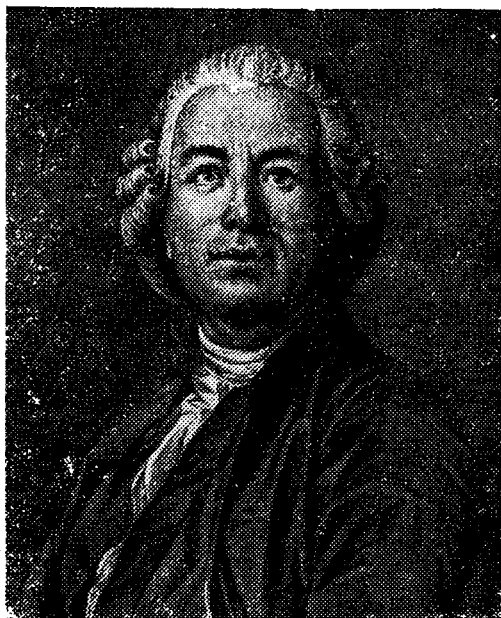
— О, я узнал вас. Только такие люди совершают революции. А вы перевернули все оперное искусство. Если бы не мои годы, я попросился бы юнгой па ваш корабль.

— Нет, нет, г-н Вольтер. Вы наш учитель, вы наш патриарх. Все, что есть нового в моих операх, все идет от вас. Язык страстей и сердца, красота подвига — все это я почерпнул в ваших трагедиях. Я горжусь тем, что Франция, моя вторая родина, рукоплещет верности Орфея, самопожертвованию Альцесты и Ифигении. Там, где любят гражданскую доблесть, там не терпят тирании.

— Тсс! ...Мой юный смельчак (Глюку было 63 года), вы забываете, что у тигров есть когти.

После ухода Глюка, доложили о Пиччинни, композиторе-итальянце, слагателе сладкоголосых идиллических песнопений, излюбленных в Трианоне.

Кристоф
Виллибальд Глюк.
Портрет Дюплесси.



— Я не могу его принять, но передайте ему мои комплименты. Он очень удачно приходит вслед за Глюком. Вслед за Глюком. Пусть всегда идет вслед за Глюком, — говорит, смеясь, Вольтер.

Всем составом явились актеры «Комеди Франсез» приветствовать своего старого автора. Шестьдесят лет прошло с тех пор, когда первая трагедия Вольтера «Эдип» ставилась в театре. Все эти шестьдесят лет он писал трагедии, комедии, фарсы. Он написал их много, очень много. Театр был его трибуной, его домом, где он принимал людей разных состояний и устами сценических героев говорил о свободе, равенстве, о мерзостях попов и преступлений церкви.

Белькур и актриса Вестрис от имени всей труппы прочитали стихи в честь драматурга. Это были нескладно скроенные, напыщенные, но лестные похвалы. Вольтер, обведя глазами присутствующих и не увидев среди них Лекена, спросил с тревогой, где он. Актеры опустили глаза.

— Болен? Нездоров?
Актеры молчали.

— Неужели?..— И Вольтер заплакал.— Я опоздал. Давно ли? И так внезапно!

Пришел Вениамин Франклин.

Весь мир говорил о Франклине. Сын бостонского ремесленника, некогда типографский рабочий, теперь он государственный деятель, посол Американской республики во Франции, великий ученый и просветитель-демократ.

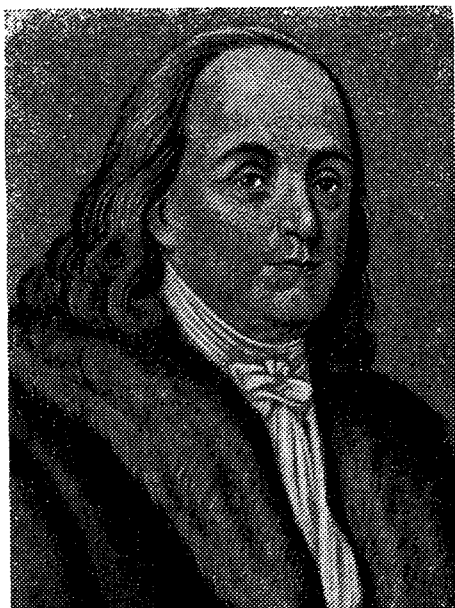
Франклин основал в Филадельфии публичную библиотеку, и это была первая библиотека в Америке, предназначенная для народа. Он основал Пенсильванский университет. Он издавал самую популярную в Америке газету, он организовал и упорядочил почтовые сообщения в стране. Он один из первых выступил против рабства негров. И когда американские колонисты начали борьбу за независимость, он не остался в стороне, содействуя победе своим умом, организаторским талантом, дипломатическим тактом и своей титанической волей.

Но только ли это знал мир о Франклине, хотя и этого было достаточно для одного человека. Выходец из народа, не пройдя никаких университетов, он сам стал первым американским университетом, он сосредоточил в своей научной лаборатории, в своей голове, вот за этим, изрезанным морщинами лбом, за этими дробными и умными глазами, с таким участием смотревшими теперь на Вольтера,— первую Американскую академию наук.

Каждый школьник XX столетия знает о положительных и отрицательных полюсах электричества, обозначаемых значками + и —. Открытие и наименование их принадлежит Франклину. Каждый школьник XX столетия знает о теплом течении Гольфстрим. Первую карту Гольфстрима и само название течению дал Франклин. Он создал первый громоотвод, он задумывался над использованием электричества в качестве механической силы, предвосхищая великие открытия последующих поколений человечества. Он исследовал распространение звука в воде, он занимался вопросами непотопляемости корабля, волновавшими моряков. Он был философом. Его мысли по политической экономии впоследствии приводили в восхищение Маркса, самого великого экономиста мира. Таков был этот человек.

Франклин был уже стар. Его лоб изборождали глубокие морщины. В глазах, печальных и усталых, светилась

Бенджамин
Франклин.
*Портрет работы
Жозефа Зильфреда
Дюплесси.*



мысль. Два властителя дум времени узнали друг друга, хотя никогда ранее не встречались.

Не нужно было ни изысканной любезности, ни высокопарных похвал. Они были «свои», родные по духу, по мысли, по пламенной любви к человечеству.

Обнялись. Два великих старца мира! Говорили по-английски. Мадам Дени, не знавшая языка, просила перейти на французский. Франклин улыбнулся и заговорил на ее родном наречии. Около него стоял мальчик лет пятнадцати. Он смотрел на Вольтера, на его пышный парик и заметно робел. Это был внук Франклина.

Подведя его к Вольтеру, он просил благословить его. Вольтер положил свои руки на лоб мальчика.

— Бог! Терпимость! Свобода!..— проговорил он по-английски.

Бог — не тот жестокий, мстительный, кровожадный бог, которому поклоняются в церквах, а другой — философский бог. Бог — Разум, Бог — Природа, в которого верили деисты, Вольтер и Франклин.

Терпимость — великий и благотворный принцип, необходимый для нормальных отношений между людьми. Терпимость означает уважение к мнению другого, исключает тиранию в области теории, догматизм мышления. Терпимость избавляет людей от одного из самых страшных зол — деспотизма догм, заглушающих пытлиую, всегда устремленную вперед, к новым открытиям, к новым горизонтам человеческую мысль.

Терпимость — святая святых для Вольтера и Франклина.

Свобода! Без нее не может, не должен жить человек. Свобода — главный принцип жизни, обеспечивающий нормальное развитие физических и духовных сил человека, его интеллекта, его талантов.

Назавтра в Париже только и говорили о встрече Вольтера и Франклина. Три магических слова были у всех на устах. В церквах, будто дымок от паникадила, пополз опасливый шепот: «Вольтер кощунствует. О какой свободе, какой терпимости, каком боге говорит этот антихрист». Попы ханжески простирали руки к деревянному распятию, архиепископ парижский писал донесение папе римскому; прося защиты от «новых козней» Вольтера.

ФОНВИЗИН В ПАРИЖЕ

То был писатель знаменитый,
Известный русский весельчак,
Насмешник, лаврами повитый,
Денис, певезде бич и страх.

А. С. Пушкин. «Тень Фонвизина»

Сохранились письма нашего соотечественника. Он был в Париже как раз в это время, — создатель двух бессмертных комедий, умный и насмешливый Денис Фонвизин. Старая московская речь с французскими цитациями:

Париж, 20/31 марта 1778.

Вчера Вольтер был во Французской академии. Собрание было многочисленное. Члены академии вышли ему навстречу. Он посажен был на директорское место и, минуя обыкновенное баллотирование, выбран единогласно в

Д. И. Фопвизпл.
Портрет Ж. Караф.



директоры на апрельскую четверть года. От академии до театра, куда он поехал, народ провожал его с непрерывными восклицаниями. Представлена была новая трагедия: «Ирепа, или Алексей Комнин». При входе в ложу публика аплодировала ему многократно с неописанным восторгом, а спустя несколько минут, Бризар, как старший актер, вошел к нему в ложу с венком, который надел ему на голову. Вольтер тотчас снял с себя венок и, заплакав от радости, сказал вслух Бризару: «Ah, dieu, vous voulez me faire mourir» (Ах, боже мой, вы хотите меня умерить. — С. А.). Трагедия была играна гораздо с большим совершенством, нежели в первые представления. Занавес опять был поднят; все актеры и актрисы, окружая бюст Вольтера, увещивали его лавровыми венками. Сие приношение публики сопровождала громким рукоплесканием, продолжавшимся близ четверти часа непрерывно. Как же скоро Вольтер, выходя из театра, стал садиться в свою карету, то народ закричал: «Des flambeaux! Des flambeaux» (Факелов! Факелов! — С. А.). По принесении факелов велели кучеру ехать шагом, и бесчисленное множество

народа с факелами провожало его до самого дома, крича непрерывно: «Vive Voltaire!» (Да здравствует Вольтер.— С. А.).

Париж, апрель 1778.

...В прошлый понедельник отворены были все театры. Мы с женою предпочли видеть Альзиру и приехали в театр очень кстати. За нашею каретою ехал Вольтер, сопровождаемый множеством народа. Вышед из кареты, жена моя остановилась со мною на крылечке посмотреть на славного человека. Мы увидели его, почти на руках песомого двумя лакеями. Оглянувшись на жену мою, заметил он, что мы нарочно для него остановились, и для того имел аттенцию, к ней подойдя, сказать с видом удовольствия и почтения: «Madame! Je suis bien votre serviteur tres humble» (Мадам, я ваш покорнейший слуга.— С. А.). При сих словах сделал он такой жест, который показывал, будто он сам дивится своей славе. Сидел он в ложе Madame Lebert (Мадам Лебер.— С. А.), но публика, лишь только заметила она, что Вольтер в ложе, то зачала аплодировать и кричать, потеряв всю благопристойность. Сей крик, от которого никто друг друга разуместь не мог, продолжался близ трех четвертей часа.

Madame Lebert, которая должна была начинать пятый акт, четыре раза принималась, но тщетно. Вольтер вставал, жестаами благодарил партер за его восхищение и просил, чтоб позволил он кончить трагедию. Крик на минуту утихал. Вольтер садился на место, актриса начинала, и крик поднимался опять с большим стремлением. Наконец все думали, что пьеса век не кончится. Господь ведает, как этот крик прервался, а Вестрис предупела заставить себя слушать. Трагедия играна была отменно хорошо.

Вчера было собрание в академии наук. Вольтер присутствовал: я сидел от него очень близко и не спускал глаз с его мощей. Обещают мне здешние ученые показать Руссо, и как скоро его увижу, то могу сказать, что видел всех мудрых века сего».

Как все насмешливые люди, Вольтер был большим скептиком. Когда его секретарь Ваньер, сидя рядом с ним, указывал на огромную толпу, окружавшую их карету, он говорил: «Мой дорогой Ваньер, если бы меня сейчас везли на казнь, толпа была бы еще больше». За несколько недель до смерти в шуме восторгов и похвал, на

вершине своей славы он писал насмешливо-печальные стихи:

Сыгравши рольку небольшую
На славной сцене мировой,
Мы все уходим вкруговую
И все освистаны толпой.
Все, расставаясь с этим светом,
Равно болеют и скорбят:
Архиепископ, магистрат,
Ханжа, сродненный с этикетом.
Пусть с колокольчиком воздетым
К постели ризничий спешит,
Конец почувяв по приметам,
Пусть дух, ослепший от обид,
Кюре напутствует советом —
Толпе смешон сей чинный вид;
Она денек поговорит,
Дав волю злобе и наветам,
А завтра будешь ты забыт,
И фарс закончится на этом.

(пер. С. Н. Кочеткова)

«ПРИЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ БОЖЕСТВЕННОСТЬ ХРИСТА?»

Видишь, голубчик, был один старый грешник в восемнадцатом столетии, который изрек, что если бы не было бога, то следовало бы его выдумать.

Ф. М. Достоевский,
«Братья Карамазовы»

Достоевский был прав. Вольтер действительно произнес такую фразу. Он боялся, что человек, потеряв веру в карающую силу бога, станет бесчинствовать, и потому полагал, что надо сохранить религию в качестве моральной узды для людей непросвещенных. Тем не менее в глазах всех своих современников он остался самым яростным противником христианской церкви и, конечно, убежденным безбожником. В последнюю схватку с христианами проповедниками он вступил уже на смертном одре. Об этом рассказали два его современника — Бомарше и актер Тальма. Насколько достоверен их рассказ, сейчас судить трудно, но парижская улица тогда об этом говорила.

Перепесемся в те дни.

Дом Вольтера осаждали. Проходили дни, но толпа, желавшая повидать великого старца, не убывала.

Вольтер устал. Он начал кашлять кровью. Доктор Троншен забеспокоился, пытался уложить старика в постель, но его не слушали — ни сам виновник торжеств, ни любезный хозяин особняка маркиз де ля Виллет. Тогда доктор Троншен прибег к решительным мерам, он обратился к народу. 20 февраля 1778 г. в газете «Журналь де Пари» появилось его письмо: «Мы станем свидетелями, если не виновниками смерти господина Вольтера».

Письмо возымело свое действие. Толпа посетителей схлынула. Вольтер зажил нормальной жизнью. Скоро силы к нему вернулись.

На заседании академии, о котором рассказал Фонвизин, Вольтер предложил ученым-коллегам создать новый словарь французского языка. Существующий неполон, неточен, недостаточен. Нация достойна лучшего. Так рассуждал беспокойный старец. Он не хотел долго ждать и на себя взял том с буквой «А».

Чтобы поддержать в себе силы, он прибег к кофе, поглощая чашку за чашкой. Двенадцать часов подряд просиживал над грамматикой, этимологией и писал, кроме того, трагедию «Агафокл».

11 мая почувствовал себя снова плохо и слег.

Маршал Ришелье, старый его друг, товарищ по коллежу, зайдя к нему, говорил о чудесном болеутоляющем средстве опиуме. Вольтер испробовал средство и впал в длительный беспокойный сон. Проснувшись, написал своим врачам: «Пациент с улицы Бон просит прощения за столькие хлопоты ради его трупа». Умирая, он смеялся.

Слухи о болезни Вольтера разнеслись по Парижу. Попы стали осаждать дом маркиза де ля Виллета. Им нужно было покаяние Вольтера, публичное предсмертное признание бога. Аббаты Готье и Терсак проникли к постели больного. Терсак склонился к нему и прокричал на ухо: «Господин Вольтер, вы на краю вашей жизни, скажите: признаете ли вы божественность Иисуса Христа?

— Иисус Христос? Иисус Христос? — повторил больной, будто что-то вспоминая, и вдруг, поднявшись, оттолкнул коснеющей рукой аббата и проговорил фразу, которая повергла в ужас благочестивых аббатов,

— Не говорите мне ничего об этом человеке»¹.

Около постели Вольтера дежурил его старый слуга Моранд. В 11 часов Вольтер сжал его руку.

— Прощай, дорогой Моранд, я умираю.

10 минут спустя он скончался.

REQUIEM AETERNAM...

Из Парижа

Господин Вольтер, который от своей болезни много принимал опия и через то пришел в некоторый род бесчувствия, наконец дорого заплатил за свою неосторожность. Сей остроумный муж, которого смерть в Ведомостях прежних годов преждевременно объявлена была многократно, наконец, в прошлую субботу, по полудни в 12 часу, умер здесь в самом деле. Тело его бальзамировано.

«Московские ведомости», 23 июня 1778 г.

Рequiem aeternam...— «Вечный покой...» — этими словами начинается заупокойная месса в католическом богослужении. Лишить умершего этой мессы — значило в те дни предать проклятию его тело, значило совершить страшную в глазах живых посмертную казнь. Бездыханное тело, которому уже все равно во вселенной, лишенное этих торжественно мрачных слов «requiem aeternam...», — закапывалось где-нибудь в оскверненном месте чужими, равнодушными служителями закона — без последних знаков уважения к личности умершего, без последнего «прости». И живые страшились этой посмертной казни, и церковь, могучая, всеильная страхом и суеверием людским, пользовалась этим неотразимым средством подавления человеческих душ. У живых она отнимала жизнь, у мертвых — честь. Так она мстила тем, кто выступал против нее. Теперь она мстила Вольтеру.

¹ Вольтер, однако, не хотел, чтобы с его прахом поступили так же, как когда-то с прахом артистки Адриенны Лекуврёр, и 29 февраля 1778 г. он написал для церковников следующую записку: «Я умираю, веря в бога, любя моих друзей, не питая ненависти к врагам и ненавизя суеверие». Вольтер вздыхал, сочиняя это послание: «Если бы я был на берегах Ганга, мне пришлось бы умереть, держась за коровий хвост».

Вольтер был мертв,— она мстила его праху.

Ему много пришлось скитаться при жизни, не нашло покоя и его тело.

Когда-то он построил себе гробницу в Фернес, по везти туда тело философа из Парижа было далеко, длительно по транспортным возможностям тех времен и опасно: правительство боялось народных манифестаций.

Племянник Вольтера, сын его сестры, аббат Миньо обратился к Терсаку, кюре церкви Сен-Сюльпис. Тот категорически отказался дать разрешение на погребение. Терсак собственными ушами слышал последнюю фразу Вольтера о Христе.

— Но ведь когда-то аббат Готье отпустил грехи Вольтеру,— робко возражал Миньо.

Действительно, таковой акт был совершен однажды названным аббатом. Довод этот, однако, не подействовал на Терсака.

— Но ведь по каноническому закону отказывают в погребении только отлученным от церкви,— настаивал Миньо.

Терсак был непреклонен.

Тогда Миньо появился в Приемной министра Парижского департамента Амело. Последний после долгих колебаний стал советоваться с тем же Терсаком.

Кюре сослался на специальное распоряжение архиепископа. Амело развел руками: он уже ничего сделать не мог.

Обратились к главному прокурору. Тот раскрыл юридическую сторону дела, она была неутешительна для истцов.

— Если вы обратитесь в суд, я вас не поддержу,— заявил прокурор.

Стала известна фраза короля (он был осведомлен о мытарствах родственников Вольтера).

— Пусть священники действуют как знают.

Однако дело грозило сделаться скандальным. Чтобы избежать шума, Терсак в конце концов согласился отпустить тело философа из Парижа. Требовалось его официальное распоряжение, он таковое выдал за собственноручной подписью:

«Действуя на основании куриальных законов, согласен с тем, чтобы тело г-на де Вольтера было увезено без официальных церемоний».

Аббат Миньо решил увезти тело своего знаменитого дяди к себе в аббатство Селльер. Нужно было торопиться, чтобы предупредить вмешательство церковных властей. Ночью в страшной спешке врачи вскрыли и бальзамировали тело. Вскрыли череп. Мозг, как отметили хирурги, оказался в великолепном состоянии, «большой и хорошо сформированный». Маркиз де ля Виллет оставил у себя сердце Вольтера. Наследники маркиза впоследствии (в 1864 г.) передадут его в дар государству. Ныне оно хранится в Национальной библиотеке в Париже.

После вскрытия тело укутали в халат, на голову надели ночной колпак и поместили покойника в углу кареты, привязав его так, чтобы создавалось впечатление, что это заснувший пассажир. Так вывезли Вольтера из Парижа ночью, тайно. Лошадей гнали во всю прыть. Рядом с покойником сидел слуга (с ним потом стало дурно от страха и запаха хлороформа). Остальные были в другой карете. Шампань проехали спокойно. В полдень 1 июня прибыли в аббатство. Миньо все еще не пришел в себя от страха перед неминуемой погоней или каким-либо дорожным происшествием.

Тело внесли в нижнее помещение аббатства. Оставили его в том же положении «сидя». Озираясь по сторонам, Миньо запер двери залы и ключ положил к себе в карман. Он все еще боялся.

Местным священникам была показана копия отпущения грехов Вольтеру, подписанная когда-то аббатом Готье, и записка Терсака. Этого для них было достаточно.

Наконец, тело было убрано, внесено в церковь. Были зажжены свечи. На другой день состоялась церемония похорон. Пели Requiem. Тело было погребено в углу церкви, за хорами.

Фридрих II, узнав о смерти Вольтера, заказал заупокойную мессу по усопшем, делая это, конечно, в пику парижским властям. Екатерина II купила библиотеку скончавшегося философа. Секретарь философа Ваньер, аккуратнейший человек, привез ее в Петербург и привел в идеальный порядок.

Покупая библиотеку Вольтера, Екатерина II беспокоилась о своих письмах к фернейскому патриарху. Она писала Мельхиору Гримму: «Особенно позаботьтесь о том, чтобы там были мои письма». Страшно боялась их опубликования. «Помешайте г-же Дени передать издателям мои

Екатерина II.
С рисунка Девейли.



письма к ее дяде, прошу вас очень серьезно», — писала она в октябре 1778 г. тому же Гримму.

Бомарше, став издателем полного собрания сочинений Вольтера, объявил, однако, что будет опубликована переписка философа с русской императрицей. Екатерина II передала категорический приказ Гримму, чтобы «ничто из этих писем не было напечатано в типографии сеньора Фигаро».

Бомарше с улыбкой отвечал Гримму: «Я торговец, я купил и продаю. Разве я пошел бы на такую глупость — покупать за 100 000 экю сочинения Вольтера, печатающиеся вот уже сорок лет во всей Европе».

Екатерина гневалась, ругательски ругала Бомарше («Этот пегодяй», «Этот господин способен на все»), называла издание «фигароизированный Вольтер», но ничего поделать не смогла. Когда том, содержащий ее письма, вышел из печати, она просила Гримма скупить все экземпляры и сжечь. Но это сделать было невозможно.

Интерес к Письмам, конечно, был огромен, как и к самой личности еще здравствовавшей тогда императрицы.

РЕВОЛЮЦИЯ

Весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком Французской революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционеры буржуазии.

В. И. Ленин

Оканчивался XVIII век, век Вольтера, век просветителей, век подготовки к революции и свершения ее. В ночь на 14 июля 1789 г. в спальню короля вбежал герцог Ларошфуко де Лианкур.

— Государь, чернь захватила Бастилию!

— Так это же бунт! — вскричал потревоженный король.

— Ах, государь, это уже революция.

Началась революция. Она началась уже давно. Уже тогда, когда партер аплодировал вольтеровскому «Эдипу», в 1718 г., когда французы вырывали из рук книготорговцев в 1721 г. «Персидские письма» Монтескье. Аристократия этого не замечала. Она веселилась, прожигала жизнь, «пророчески очей не простирая вдаль» (Пушкин), народ нищал, крестьяне бежали из деревень, оставляя пустующие поля, городские рабочие голодали.

В замке Ла-Бред недалеко от города Бордо кропотливо и усидчиво президент Монтескье разрабатывал законодательную систему буржуазного строя, грядущего на смену сословно-монархическому государству. «Энциклопедия», сплотившая революционные силы Франции, разрушала феодализм в человеческих умах — взгляды, привычки, укоренившиеся предрассудки, философию, мораль. Все стороны жизни дворянской Франции были подвергнуты анализу, критике и осуждению.

Вольтер, неутомимый и насмешливый, внушал веру в будущее. Неотразимый и привлекательный автор, он был всесилен. Его шутка облетала мир, легкокрылая и разящая. И в его смехе таилась революция. Европейская аристократия вкушала мед его речей, не ощущая в них привкуса яда. Своей высохшей рукой он правил миром. Его владычество было увлекательно и радостно для людей. Оно исключало тиранию мнения, догматического понуждения.



Вольтер. Скульптура Жана Гудона. 1781. Эрмитаж. Ленинград.

Это было свободное царство ума, куда допускались все.

Здесь дышалось легко, здесь мысль доходила мгновенно, ибо излагалась она с ясностью утреннего солнца. Самые усложненные проблемы обретали простоту и постигаемость. В этом заключалась тайна вольтеровского пропагандистского таланта.

Церковники — самые ярые реакционеры, самые озлобленные сторожевые псы феодализма и, пожалуй, самые проникательные из идейных врагов Вольтера, поняли и оценили по достоинству революционное действие его неотразимого пера.

Когда Вольтер умер, а Бомарше решил напечатать собрание всех известных его сочинений, французская церковь выдала правительству 18 миллионов ливров за приказ, запрещающий это издание в пределах Франции. Бомарше напечатал Вольтера за границей.

Революция была апофеозом славы просветителя. 30 мая 1791 г. Национальная Ассамблея революционной Франции издала декрет: «Мари-Франсуа Аруэ достоин почестей, оказываемых великим людям, и потому его останки перенести из церкви Ромилли в церковь святой Женевьевы в Париже».

В понедельник 11 июля прах Вольтера был торжественно и всенародно перенесен в Пантеон. Художники Давид и Селлерье создали пышное убранство народного шествия. Поэт Мари-Жозеф Шенье написал торжественный гимн, композитор Госсе — музыку.

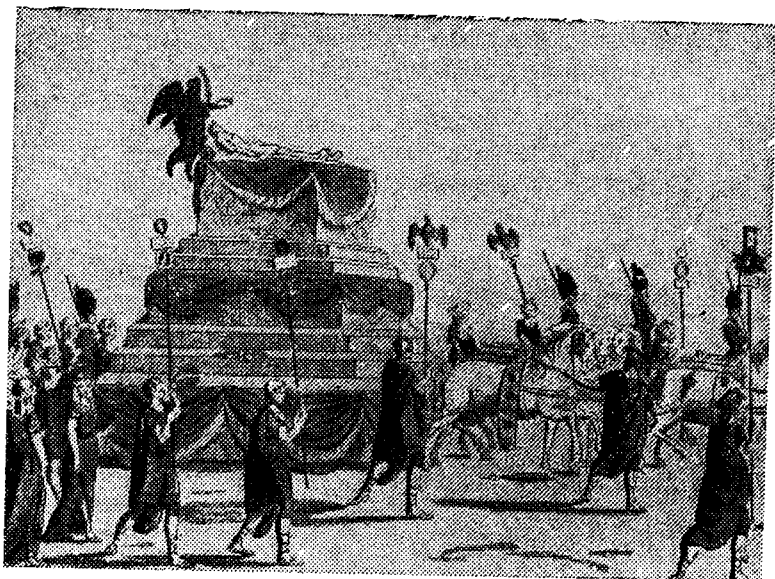
Парижане кричали и пели. Пусть он вернется в свой Париж! Его долго не пускали сюда. Он жил изгнанником, — человек, научивший нас свободе. Так пусть же мирно спит теперь здесь, в столице своей Франции!

Вот как описал очевидец это событие: «Церемония перенесения тела Вольтера из Бастилии, куда оно прибыло в воскресенье вечером, в новую церковь св. Женевьевы, один из лучших памятников Европы, имела место в прошлый понедельник 11 числа этого месяца... Кортёж двинулся от Бастилии в 12 часов. Он состоял из многочисленного отряда Национальной гвардии, из депутации от муниципалитета и Национального собрания, из учеников художественной школы, из писателей и членов академии. Произведения Вольтера несли два человека в одеждах греческого и римского жрецов. Несли модель Бастилии. Колесницу с прахом Вольтера везли 12 белых лошадей по четыре в ряд. На ней было картонное изображение лежащего Вольтера. Слава возлагала венки на его голову. Вокруг колесницы шла группа из 9 муз».

Возникает вопрос, как принял бы революцию Вольтер, если бы дожил до нее? Екатерина II писала по этому поводу (принцу де Лию):

«Я думаю, что Вольтер и его сочинения выражали бы сейчас отвращение к фанатизму и нелепостям, происходящим в настоящий момент».

Вольтер никогда прямо не призывал к революции, к оружию, к восстанию, но отнюдь не исключал насилия в



Торжественное перенесение праха Вольтера в Пантеон.
Современная гравюра неизвестного мастера.

борьбе за правое дело. Он не осудил казнь царевича Алексея Петром, видя в этом акте русского царя государственную необходимость. Убийство Петра III вызвало с его стороны шутивную фразу: «когда пьяница умирает от колик в животе, это учит нас воздержанию» — и далее: «может быть, это маленькое зло послужит началом большого добра».

Он вряд ли принял бы сторону Робеспьера и всех самых радикальных мер революции, но не осудил бы французский народ за казнь Людовика XVI. В свое время он прославил Брута-старшего, казнившего сына за измену родине, и его потомка Брута-младшего, казнившего Цезаря, узурпатора народной власти. Обращаясь к историческому опыту Англии, он писал: «Свобода нелегко досталась Англии, в море крови потопила она идол деспотической власти, но англичане не считают, что слишком дорого заплатили за свои законы» («Письма об Англии»).

Многое увидел мир после смерти Вольтера,

К Парижу, к Франции было приковано всеобщее внимание. Там, во Франции, в Париже, происходили тогда события всемирно-исторического значения. Восставший французский народ, веками притесняемый и эксплуатируемый, заявил о своем праве на свободу, равенство, счастье. Все силы международной реакции поднялись против него. Екатерина II бросила клич: «Дело французского короля — дело всех королей». Она не послала во Францию войска, но послали другие — Австрия, Пруссия, Англия. И внутри страны народ испытывал отчаянное сопротивление аристократии. Каждый день был насыщен драматическими событиями. Убийство Марата Шарлоттой Корде, казнь Робеспьера и Сен-Жюста, Вандейское восстание, направляемое Англией.

Наполеону было девять лет, когда умер Вольтер. Корсиканский мальчик с итальянским именем Buonaparte был определен тогда в офицерскую школу в Бриенне (для бедных дворян).

Вольтер не мог знать, не мог предвидеть судьбы этого человека, но с пророческой силой звучат его стихи, словно специально написанные о Наполеоне:

Героев записных я не ценю отвагу,
В победных кликах их не вижу людям блага.
Они в сражениях блаженство видеть склонны
И не щадят себя и губят миллионы;
И чем блистательней луч славы их горит,
Тем ненавистней мне их горделивый вид.

Мучительно и трудно побеждал новый общественный строй, дорогу которому пролагали Вольтер и его соратники-просветители. Немногие поняли исторический смысл событий.

Французская революция вызвала бурю разноречивых толков во всем мире: восторг и негодование, хвалу и осуждение. Русский поэт Пушкин, пожалуй, один из первых дал ей объективную, исторически верную оценку. Он указал на смятение и величие Французской революции («союз ума и фурий»), на ее очистительную и созидательную силу («Свободой грозною воздвигнутый закон») и на главный динамический нерв нового хозяина Франции, буржуазии, пожавшей плоды революционного энтузиазма масс, на безудержную погоню буржуазии за прибылью («торопятся с расходом свесть приход»). В стихотворении «К вель-

може» Пушкин развернул широкую панораму жизни Западной Европы на рубеже двух веков — XVIII и XIX:

Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы.
Преобразился мир при громах новой славы.
Давно Ферней умолк...
Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,
Энциклопедии скептический причет,
И колкий Бомарше, и твой безносый Касти,
Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти
Забыты для других. Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, бывшее истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья
Едва опомнились молодые поколения.
Жестоких опытов собирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.

История шла вперед. В ходе революции — возвышение Наполеона, республиканского генерала, потом императора и диктатора Франции, наполеоновские войны, ослепительные и будоражающие умы победы и конечный крах — Бородино и Ватерлоо, — возвращение Бурбонов на французский престол, 15 лет Реставрации и революция 1830 г., окончательно решившая вопрос о ликвидации сословно-монархического режима в стране. «...История шла через всю эту необычно богатую войнами и трагедиями (трагедиями целых народов) эпоху, вперед от феодализма — к «свободному» капитализму» (В. И. Ленин).

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Грядущие годы таятся во мгле.
А. С. Пушкин

Сквозь эту мглу не всегда проникает человеческий взор. Насмешливый, скептический Вольтер, сторонник строгого научного метода («истинная философия к тому и сводится, чтобы суметь вовремя остановиться и идти дальше только с верным проводником»), глядел в будущее с наивным и восторженным простодушием. Он полагал, что Разум, Просвещение решат все самые сложные, самые запутанные вопросы бытия человеческого. И скоро! Скоро! «Счастлив, кто молод...» И эту его востор-



Вольтеровские чтения в Москве в ДOME дружбы с народами зарубежных стран. С. Д. Артамопов (слева) знакомит посетителей с выставкой книг, посвященных Вольтеру.

женную веру разделяли современники, его почитатели, его ученики. Только сумрачный Жан Жак Руссо — самый радикальный из просветителей — оставался в стороне и угрюмо порицал цивилизацию, оторвавшую «естественного человека» (дикаря) от «естественной среды» (невозделанной природы) и сделавшую его несчастным. Страстно ненавидя всяческое притеснение, власть собственности пад душами людей, сословно-монархическое государство, он уже провидел пороки будущего буржуазного миропорядка. Пророчески звучали его слова из письма к д'Аламберу: «При монархии богатство никогда не дает возможности смертному стать выше государя, но при республике он легко может стать выше законов. Тут правительство терит всякую силу, и подлинным сувереном становится богач».

Прошли годы. Свершилась революция. Во Франции сформировалось общество, о котором мечтали просветите-

ли,— без абсолютной власти монарха, без привилегий для паразитарных сословий, духовенства и дворянства — но... вот, что мы читаем в правдивейшем реалистическом романе XIX в., отразившем уже новую историческую эпоху: «С июльских дней (революции 1830 г.— С. А.) банк (!) стоит во главе государства.

Буржуазия вытеснила Сеп-Жерменское предместье (т. е. дворянство.— С. А.), банковские же круги — это знать буржуазии... Обстоятельства заставляют высокие банковские сферы взять в свои руки власть и либо самим занять министерские посты, либо предоставить их своим друзьям...»

Так рассуждает новый «хозяин Франции» — банкир Левен в романе Стендаля «Красное и белое». Руссо оказался прав. Что же Вольтер, Дидро, энциклопедисты, все просветители? Неужели труд всей их жизни был напрасен? Умные, талантливые, благородные люди, они свершили свою историческую миссию, они работали на благо всего человечества. Не их вина, что реальность оказалась не так радужна, как они мечтали. «Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии,— писал В. И. Ленин.— Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось: напротив, и на западе, и в России они совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного»¹.

Если отвлечься от примет времени, от всего того, что ушло вместе с XVIII веком, и взять социально-нравственную программу Вольтера в ее, так сказать, чистом виде, то она сведется к следующему: всю жизнь на земле нужно строить применительно к нуждам человека. Вне человека нет морали, нет понятия добра и зла. (Речь идет, конечно, о человеке как существе общественном. «Добродетель или порок, добро и зло определяются в зависимости от того, что полезно обществу и что вредно».)

Каждый человек стремится к счастью, к личному счастью. И это его стремление естественно, справедливо, разумно. Но счастливым в одиночку быть нельзя. Поэтому

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 520.

каждый разумный человек ради собственного же блага должен заботиться о благе всеобщем.

Озаренные светом чудесного таланта, сочинения Вольтера зовут к гуманности, к борьбе против всех видов притеснений, насилий, жестокостей, прославляют непреходящие духовные ценности, формирующие нашу нравственность.

* * *

На этом мы прерываем наш рассказ о Вольтере и его веке. Он предельно лаконичен и едва, конечно, наметил контуры того, чем жил XVIII век, чем жили современники и соотечественники Вольтера, чем жил он сам¹.

Для более детального изучения вопроса следует обратиться к сочинениям французского автора. Из последних изданий рекомендуем книги: Вольтер. Орлеанская девица. Магомет. Философские повести. Библиотека всемирной литературы. М., 1971. Перевод с французского. Вступительная статья С. Артамонова. Примечания А. Михайлова и Д. Михальчи. Книга вышла тиражом 300 тыс. экземпляров и достаточно, следовательно, доступна широкому читателю.

О Вольтере у нас имеется большая отечественная и переводная литература, но многое из нее стало уже библиографической редкостью. Наиболее обстоятельна книга К. Н. Державина «Вольтер» (Изд-во Академии наук СССР. М., 1946). Из новейших назовем книгу П. Р. Заборова «Русская литература и Вольтер. XVIII — первая треть XIX века» (М., 1978).

Уместно здесь сказать о портретах Вольтера. Их создавали самые прославленные мастера. В молодости его запечатлел Никола Ларжильер, сложившийся как художник еще в XVII столетии, писавший когда-то Лебрена, Лафонтена и самого Людовика XIV. Его портреты при всей их парадности отличались мягким лиризмом. Его Вольтер полон энергии и внутренней собранности.

Вольтера писал и Морис Латур. Здесь нет парадности. Лицо, глаза, мысль, иногда будто затаенная мечта человека. Герои художника не короли и вельможи в париках и

¹ Французскому исследователю Денуаретеру потребовалось для такого рассказа 8 томов убористого печатного текста. «Вольтер и общество XVIII века» (*Den oïresterres. Voltaire et la société du XVIII^e siècle*), pp. 1871-1876),

расшитых камзолах, а поэты, философы, художники, актеры. Это интеллигенция XVIII в.— и среди них Вольтер. В правой руке он держит книгу. Он оторвался от нее и взглянул на нас, лукаво и приветливо, чуть улыбаясь, полный молодых сил и ума, который так и светится в его сверкающих глазах.

В 70-х гг. был объявлен сбор средств на скульптурный портрет Вольтера. Работу поручили Жану Батисту Пигалю. Автор грандиозного надгробия Морицу Саксонскому в церкви св. Фомы в Страсбурге, он, казалось, больше, чем кто-либо, способен был увековечить национального героя Франции. Однако Пигаль создал что-то странное: со всем натуралистическим правдоподобием в мраморе было представлено дряхлое, во всей ужасающей худобе тело Вольтера — человеческая руина, скелет, обтянутый кожей. По мысли скульптора, это должно было символизировать неприкрашенную, нелживую наготу философии, силу духа в немощном теле. Но замысел художника остался в его голове, мы же видим только немощное тело и невольно предаемся размышлениям о бренности нашей материальной субстанции. Вольтер наблюдал работу мастера, был немало смущен, но полагал, что не должно стеснять свободу творчества, и молчал.

Далее Жан Антуан Гудон.

Мягкий, покладистый, он взирал на всех с доброй улыбкой и, кажется, не способен был ни спорить, ни возражать кому-либо. В каждом человеке он искал доминирующую черту и в искусстве портрета не имел себе равных. Великие и знаменитые властители умов и власть предержащие — все спешили позировать ему. Дидро, Руссо, д'Аламбер, Бомарше и Глюк, и «гениально продажный Мирабо» (так охарактеризовал его искрометным словом Владимир Ильич Ленин), и Вашингтон, и Франклин, и изобретатель парохода Фултон, и поэт Андре Шенье, и Екатерина II.

Душой художник отыскивал в каждом из них тайный код, по которому была сложена вся натура. Но портрет Вольтера не удавался. Оставаясь наедине с художником, сидя в глубоком кресле, лишенный действий, позируя, Вольтер вдруг вспоминал, что он в самом деле стар, очень стар, что ему восемьдесят четыре года, и невольно опускались его плечи, тускнели глаза, взгляд утрачивал живость мысли.

В кресле был уже не Вольтер, не человек, поражавший воображение современников и при жизни ставший легендой, а немощная тень, почти лишенная плоти. Иногда, впрочем, на неподвижном лице появлялись какие-то признаки жизни, но это были досада, старческий каприз, раздражение, усталость.

Скульптор виновато улыбался. Его глаза, полные всегдашней чуткой симпатии к людям, светились теперь благоговейной любовью к своей великой «модели». Но, увы, тайная тревога закрадывалась в сердце: успеет ли, сумеет ли увидеть, схватить, увековечить неповторимое, вольтеровское.

«Ах, оживитесь же, воспряньте духом, хоть невзначай, ну на одно мгновенье!» — мысленно просил он старца, не смея произнести этих слов вслух.

Кто-то из присутствовавших на сеансе подкрался к Вольтеру и, смеясь, одел ему на голову тот самый лавровый венок, которым незадолго до этого актер Бризар при громе аплодисментов публики увенчал его во французском театре.

Вольтер вздрогнул, в глазах вспыхнул огонь, который горел в его сердце всю жизнь, — огонь вечной неугасимой мысли и энергии, — тонкие пальцы оперлись на ручки кресла, в лице заиграла улыбка, весь он как-то помолодел, выпрямился, упруго привстал. Художник, зачарованный, наблюдал это преобразование. Ничто не ускользнуло от его взгляда, перед ним был человек, мысли которого повиновалась история.

Минута, — и все исчезло.

— Что вы делаете, молодой человек! Бросьте этот венок в мою открытую могилу, — отмахнулся Вольтер.

Но художник торжествовал. Это был последний сеанс.

Скульптура была закончена уже после смерти Вольтера.

Гудон изучал его руки. Во французском городке Анжере, в местном музее хранится слепок с мертвых рук властителя дум XVIII в. Слепок сделал Гудон, его печать осталась на гипсе.

Рука человека! Для художника это целый мир.

Скульптурный портрет Вольтера (в кресле) исполнен Гудоном дважды. Ныне одна из мраморных статуй находится в Париже, в театре «Комеди Франсез», вторая — в Ленинграде, в Эрмитаже.

Наконец, швейцарский художник Жан Гюбер. В 1770—1775 гг. он написал серию сцен из жизни Вольтера в Фернее. Вольтер обиделся на художника, но, думается, напрасно. С мягким юмором, полным любви к своей великой модели, живописец запечатлел милые подробности домашней жизни властителя дум тогдашних поколений: Вольтер встречает гостей, Вольтер за шахматами, Вольтер, едва проснувшись и еще одеваясь, диктует секретарю очередные свои инвективы, Вольтер сажает деревья и т. д.— и все это с тем простодушием, которое как-то уживалось в нем со скептическим умом и лукавством.

Художник прославился этими картинами (кажется, ничего более значительного он и не написал), и его стали называть Гюбер-Вольтер. Картины были куплены Екатериной II и ныне находятся в Ленинграде, в Эрмитаже.

В XIX в. Вольтер привлек к себе знаменитого живописца и карикатуриста Оноре Домье. Мы поместили в книге одну из его ярчайших карикатур (с. 181). Католический падре, застигнутый на месте преступления, с руками, обгаренными кровью, с великой ненавистью оглядывается на памятник Вольтеру.

Домье — это, право, Кукрыниксы Франции XIX века. Ни одно событие политической жизни тех лет не прошло мимо его зоркого глаза, все значительное, происходившее в его дни, оставило свой след в его карикатурах, литографиях, скульптурных шаржах. И это его обращение к Вольтеру — свидетельство теперь уже посмертной политической активности нашего героя.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вместо предисловия	5
Родина Вольтера	7
Восемнадцатый век	13
Век революции	18
Хвала и клевета	21
Сын Мома и Минервы	24
Годы ученичества	27
Заботы старого потариуса	33
Смерть Людовика XIV	40
Петр Первый во Франции	46
Бастилия	54
«Эдип»	59
«Послание к Урании»	66
В изгнании	68
Возвращение из ссылки	77
«Брут»	81
«Заира»	84
Философия истории	87
«История Карла XII»	89
«Письма об Англии»	99
Спрей	111
«Трактат по метафизике»	115
«Смерть Цезаря»	118
«Светский человек»	123
Карточная игра у королевы	127
«Задиг»	133
Фридрих II и Бенедикт XIV	140
«Энциклопедия»	145
В Пруссии	150
Ферней	155
«Россия при Петре Великом»	161
Жан-Жак Руссо	166
«Кандид, или Оптимизм»	170
«Орлеанская девиственница»	176
Жертвы фанатизма	180
Фернейский патриарх	188
Возвращение в Париж	195
На набережной Театинцев	197
Фонвизин в Париже	202
«Признаете ли вы божественность Христа?»	205
Requiem aeternam...	207
Революция	211
Послесловие	216

70 B.

